

СОВЕТСКИЕ ФИЛОСОФЫ ПОКОЛЕНИЯ 1920-х ГОДОВ¹

С.Н. Корсаков
Институт философии РАН

Аннотация: *Предпринята попытка представить коллективный портрет поколения советских философов 1920-х годов. Основное внимание уделено лидировавшей в тот период в советской философии школе диалектиков, последователей академика А.М. Деборина. Говорится об интеллектуальных и административных результатах представителей этой школы по развитию и институционализации философии в России. Практически все представители поколения советских философов 1920-х годов погибли в результате сталинских репрессий. Рассказывается о трудностях поиска источников в отношении деятельности философов, ставших жертвами сталинских репрессий, и личном опыте автора по преодолению этих трудностей. Приводятся фрагменты воспоминаний, в которых воссоздается облик наиболее ярких философов деборинской школы. В облике поколения философов-деборинцев выделены некоторые общие черты. В период формирования личности – стремление к философскому образованию на фоне преодоления неблагоприятных стартовых социальных условий. В период недолгого творческого расцвета – публичная акцентуация личной философской позиции в качестве интеллектуального и нравственного убеждения. В ситуации сталинского застенка – способность остаться человеком вопреки нечеловеческим условиям. Автор говорит о жизненном и нравственном выборе как главном вызове философскому поколению 1920-х гг. Он противопоставляет тех, кто остался среди гонимых, и тех, кто нашёл в себе способность словом и делом помогать гонителям.*

Ключевые слова: *советская философия, поколение двадцатых годов, деборинская школа, сталинские репрессии.*

Ю.В. Синеокая предложила мне написать эти заметки о поколении советских философов, судьбами которых я в основном занимаюсь. Я согласился, потому что когда-то же нужно и в истории русской философии восполнить тот провал, который образовался в отношении советских философов 1920-х годов. Иначе опять получится очередное наведение ретроспективного моста между рассказом о философах эпохи «Вех» и воспоминаниями об ушедшей молодости тех наших современников, которые в своём коллективном поколенческом мифе хотели бы возвести к веховцам свою философскую родословную. В итоге в серое пространство социальной амнезии попадает несколько десятилетий. И вместе с канувшим временем уйдут и искания, идеи и страдания поколения философов.

¹ См.: Корсаков С.Н. Советские философы поколения 1920-х годов. – *Философские поколения* / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский дом ЯСК, 2022. – С. 29–96.

Проблема подобного временного провала актуальна не только для философии. В наше время популярны попытки восстановить истории научно-исследовательских институтов, вузов, кафедр и их руководителей. Как правило, все они так и строятся по одной модели – от рассказа о временах Серебряного века переходят к воспоминаниям местных ветеранов о том, как они начинали в 1950–1960-е годы. Куда же исчезло время становления, которое и сформировало облик и профиль научной или учебной структуры? Если временной провал и осознают, в лучшем случае отговариваются неумелостью. Примерно тем же, как выяснилось, часто заканчиваются попытки «выстроить траекторию» развития того или иного исследовательского направления и в нашей философской жизни «за сто лет». И это при том, что сегодня подведение вековых итогов – задача, поставленная самим временем. В нашем философском сообществе ощущается эта объективная потребность самоопределения, ответа на вопросы «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?». От продуманных нами сегодня ответов будут отталкиваться в последующие сто лет.

Собственно говоря, хронологические рамки моих научных интересов несколько шире 1920-х годов: от дореволюционной эпохи до постсоветской. Но даже в рамках временного отрезка 1920–1950-х годов невозможно говорить об одном поколенческом типе. Люди 1920-х годов совсем иные, чем люди 1930-х годов. А последние отличаются от поколения 1940–1950-х годов.

Но радикальный поколенческий разрыв в советской философии произошёл именно между 1920-ми и 1930–1950-ми годами. Начальные строки «Смерти Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова прочитываются сегодня не в их буквальной отнесенности к декабристам, а как автохарактеристика начавшего уходить поколения. Начавшего уходить в том же молодом возрасте, что и поколение тыняновских героев. «На очень холодной площади... перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей... Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щёк, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной глубины...» [Тынянов 1988: 3]. Грань между 20-ми и 30-ми годами обоих веков обозначена очень чётко: от прыгающей походки к молчанию под сенью голубого канта.

Драма рубежа 1920–1930-х годов для философов состояла в обусловленной историческим переломом неизбежной необходимости совершить нравственный выбор, ставкой в котором была сегодняшняя твоя жизнь и будущая жизнь твоих текстов. Но какой бы выбор ты ни сделал, выиграть было всё равно нельзя. И именно это определяет весь ракурс поколенческой траектории от тех десятилетий до нашего времени.

Идеологические различия вторичны и оформляют нравственные. В этом для меня стоит главный урок многолетнего изучения архивных документов и воспоминаний. Предъявление философам идеологических обвинений в том или ином «отступлении» от марксизма имело характер оформления репрессии и ни в какой связи не находилось с их реальными теоретическими воззрениями. Реальными причинами репрессий были либо высказанные критические оценки интеллектуальных возможностей Сталина, либо чьё-то стремление занять место лидера научного направления, директора института, редактора журнала. Стремление реализовывалось в виде групповой борьбы либо нападения стаи на жертв. Помимо собственных наблюдений, сошлюсь и на свидетельство участника событий А.Я. Зися:

Кое-что из области «смешного»: среди самых мягких криминальных моих поступков, квалифицированных как идеологическое вредительство, в одной из публикаций было отмечено, что я излагал законы формальной логики без единого слова критики, а философии Платона и Аристотеля отвёл целых шесть часов. Смешно? Теперь это звучит смешно. А тогда... Говорю об этом лишь потому, чтобы читателю было ясно – дело не в реаль-

ных поступках или действительных идеологически неприемлемых позициях было. Нужен был криминал, а что под него подвести, – за этим дело не станет. Сплошь и рядом то был настоящий трагифарс. Обращение к дискуссии, к вопросам борьбы против механистов и меньшевистствующих идеалистов – стало формой «охоты на ведьм», средством разоблачения явных и скрытых идейных греховодников. Само же существо этих вопросов мало кого интересовало [Зись 1996: 135].

Привычная картина «подавления философии в СССР» далека от реальности. В условиях произвола, ставшего нормой жизни, малограмотные энкавэдэшники, да власти вообще, часто выступали орудиями борьбы за господство в той или иной философской структуре. Ленинградский историк философии М.Л. Ширвиндт в туруханском застенке пытался объяснить следователю, заполнявшему протокол с грамматическими ошибками, что, наверное, несправедливое осуждение стало результатом его трактовки философии Спинозы, которую признали ошибочной, а она верна. Но туруханскому следователю не с руки было решать вопрос о том, материалист ли Спиноза или нет. Он согласно разрядке отправил философа обратно в Ленинград, где тот погиб по групповому делу сотрудников Ленинградского отделения Института философии вместе с Г.С. Тымянским, Ю.П. Шейном, Л.Ф. Спокойным и другими. Л.Ф. Спокойный незадолго до ареста опубликовал книгу о Лейбнице и его философии. Мне удалось разыскать внука Л.Ф. Спокойного. Он прислал фотографию семьи деда накануне ареста и сканы листов из уголовного дела. Философов обвинили в том, что они создали «контрреволюционную троцкистскую организацию» и «при помощи агентов фашистского гестапо готовили террористический акт против т. Сталина» Управление [Управление ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. П-32810]. По тому же делу был арестован и умер в лагере отец Роя и Жореса Медведевых. Братья выяснили, что за трагические события отвечает Б.А. Чагин и его помощники [Медведев, Медведев, 2004; Медведев 1990]. Ленинградское отделение Института философии пришлось закрыть, поскольку в нем почти никого не осталось, а серый армейский политработник стал единственным от Ленинграда членом-корреспондентом АН СССР.

Вместе с тем сказанному не противоречит, а дополняет его то, что в основном советские философы 1920-х годов были репрессированы за свою профессиональную деятельность. Вот это нужно чётко понимать. Если арестовывался философ, то обычно в обвинительном заключении, а также в передовых статьях журналов, в докладах коллег на собраниях в качестве основания для репрессии приводились цитаты из его работ. В тех уголовных делах, которые мне пришлось смотреть, цитаты из статей в журнале «Под знаменем марксизма» автора фигурировали уже в постановлении на его арест. Это касалось философов всех специальностей. Разве что более наглядно это происходило со специалистами по философии естествознания. В книге о Б.М. Гессене я показал, что его «реакционные установки», философски осмысливавшие теорию относительности и квантовую механику, стали основным мотивом репрессии. С точки зрения процедуры репрессии слово философа было его преступлением.

В каком случае оно становилось преступлением? Если это слово было философским, то есть выражало самостоятельную мысль. Человек, который называется философом, был нужен сталинскому режиму, чтобы от имени философии обосновывать любой поворот политики властей. Самостоятельное мышление, поиск истины, предъявление этой истины властям как чего-то, с чем нужно считаться, рассматривалось как подрыв легитимности власти. Ведь приверженность передовой философии входила в состав процедуры легитимации власти. Философ, который в рамках этой философии пытался мыслить сам, обретал внутренний стержень, делавший его независимым от власти. В этом случае тот, кто искренне разделял государственную философию, был обречён. Высказанные им идеи, если они не были про-

стым повторением убогого канона, превращали власть в отступницу. Вот почему философы-идеалисты, которых не выслали из страны ранее, почти все спокойно умерли своей смертью. Их пространство мысли не входило в клинч с интересами государства.

Сделанное нами наблюдение стимулирует новые размышления. В частности, о том, что сталинский режим не был режимом идеологическим в точном смысле слова. Его не интересовали идеи, его заботила прагматика. Философия нужна была не для определения путей движения общества, но лишь в ритуальных целях. Вот здесь и произошёл поколенческий водораздел 1920-х и 1930-х годов. Одни остались философами, другие перестали ими быть, получив взамен различные академические регалии. Выбор был ясен уже тогда. На заседании, где происходил режиссированный Сталиным разгром Института философии, Я.Э. Стэн обнажил суть перелома эпох:

Мне хочется здесь устранить одно недоразумение, которое создают некоторые товарищи, когда очень часто отказываются спорить по существу. Совершенно недопустимым является такое положение вещей, что, когда мы обсуждаем философские вопросы, нас ставят в неравное положение и заявляют, что вы невыдержанные большевики, а мы выдержанные большевики. Если вы, в самом деле, уверены в тех обвинениях, которые вы нам предъявляете, что мы оторвались от партии, то надо нас без всякого промедления казнить. Можно говорить о политике в области философии, но нельзя рассматривать философию как частную форму политики [Вестник Коммунистической академии 1930: 107, 110, 116, 117].

Я.Э. Стэн и его друзья не смогли перестать быть философами и были казнены.

Чацкие были унесены смерчем, Молчалины остались, потому что самоустранились как индивидуальности. Мы работаем с архетипами русской интеллигенции, которые воспроизводятся сходством исторических ситуаций. Ю.М. Лотман считал прототипом Молчалина С.С. Уварова, который выдвинул формулу «православие, самодержавие, народность», сам в неё не веря и руководствуясь лишь мыслью о самосохранении и личном благополучии.

«Он сам говорил Грановскому, что, управляя министерством, он находился в положении человека, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другою все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам, по крайней мере, остался цел» [Чичерин 1990: 25].

Интеллектуализм не мешал Уварову перевоплотиться из проводника просвещения при Александре в его гонителя при Николае, «а потом, если бы дожил до реформ, наверное, был бы реформатором. Он – чиновник. У него нет убеждений. Это – Молчалин» [Лотман 2003: 406]. Уваров это Митин в период оттепели, который делал на Всемирных философских конгрессах доклады о философской антропологии, написанные ему знающими дело сотрудниками, и восседал в президиуме научной конференции по экзистенциализму. Разве что у Митина не было интеллектуального лоска, но были аналогичные персонажи, имевшие этот лоск, особенно во втором-третьем поколениях. В основе поступков новой генерации лежала готовность к подлости, страсть к материальному благополучию и безразличие к идеям. Поэтому философы 1940–1950-х годов как личности менее интересны. Они представляют собой в поколенческом плане классический симбиоз фанатизма и цинизма. Фанатизма, который породил цинизм и им же разлагался. Результат процесса разложения привёл в качестве реакции к романтизму шестидесятников, перешедшему вскоре в двоемыслие семидесятников.

Сегодня удалось вернуть читателю часть текстов генерации философов 1920-х годов, что-то получилось переиздать, что-то открыть в государственных и семейных архивах. Но этого недостаточно. Ю.М. Лотман в своей телевизионной лекции о декабристах говорил:

чтобы понимать их тексты вполне, нужно сначала понять их как замечательный тип человека:

Мы сейчас говорим об охране памятников, восстанавливаем или сохраняем камни, это очень важно – здания, но культура создаёт не только здания, картины и книги. Она создаёт людей. И точно так же, как можно уничтожать, разрушать здания, можно разрушать человеческие типы с их завоеваниями человеческого достоинства, благородства, знаний. Это тоже нуждается в реставрации, в сохранении, в знании, и поэтому нам стоит задуматься над тем, что же это был за человек – человек декабристской эпохи [Там же: 401].

Пожалуй, слова Ю.М. Лотмана применимы в целом к проблематике интеллектуальных поколений. Вообще говоря, изучение философских поколений весьма важно для восстановления человеческого контекста развития философии. Вне этого контекста многое останется непонятным. Путь от поколенческого типа к текстам не менее важен, чем привычный путь от текстов.

При характеристике советских философов 1920-х годов я, конечно, могу и буду опираться на источники, которые с большим трудом удалось найти и собрать. Но это был бы чисто внешний рассказ. Мне приходилось много размышлять над теорией биографики [Корсаков Козенко 2007: 247–267], и я не очень доверяю интуитивному проникновению биографа в душу героя. Но в настоящем случае можно говорить о таком проникновении. Мне придётся нарушить правила научного изложения и сказать немного о себе.

* * *

Когда я приступил к изучению советской философии 1920–1950-х годов, я практически ничего не знал о людях и идеях, которыми принялся заниматься, и не имел никаких заведомых предпочтений. С самого начала я решил делать акцент не только на опубликованные тексты. Хотя и здесь работы было немало. Философская периодика того времени – терра инкогнита для наших философов. Но мне нужно было понять, каковы были авторы текстов. Для этого нужно было систематически изучать архивные документы. Кроме того, если повезёт, я надеялся найти и поговорить с потомками моих героев. Сразу скажу, что последнее мне в основном удалось, и я встретился и смог получить те или иные документы и воспоминания приблизительно у десяти – пятнадцати семей. Разыскивать потомков репрессированных философов сложно. В чем-то розыски напоминают детективные расследования, где большую роль играет случай и удача.

Не менее трудно разыскать архивные документы, проливающие свет на трагедии прошлого. По счастью, время, когда я занялся поисками, было недолгим в истории России периодом открытости архивов, и я мог заказывать и читать подряд практически любые дела, в том числе личные, уголовные, но, главное, персональные, документы партийного следствия – наиболее информативные для понимания поведения персонажей. Наши правители родом из госбезопасности тогда ещё не озаботились защитой чести и достоинства своих бывших и будущих добровольных помощников. Сегодня всё это уже недоступно. И неизвестно, когда станет доступным. Но мне было достаточно для того, чтобы сложилось понимание происходившего.

Представьте, что ты ходишь один-два раза в неделю в архив, тот или иной, и часами читаешь подряд документы. И так продолжается несколько лет. Помимо сознания неизбежно создаётся кумулятивный психологический эффект понимания социальных механизмов взаимоотношений людей и того, как различные людские характеры проявляют себя в ситуациях, обусловленных этими взаимоотношениями. Стала понятна суть системы – не из аналитики и не из обобщения фактов как научной процедуры, а именно интуитивно. Я, например, ясно

увидел, что мы имеем дело не с идеологическим государством, а с режимом личной власти. Также я стал склоняться к мысли, что уничтожение философов было превентивной мерой, целью которой было затушевать разницу между доктриной и реальностью. Но главное, мне изнутри стали понятны конкретные люди эпохи. После того как ты пройдёшь с каждым из них его круги ада, перед тобой встаёт человек, а не абстракция. И вместе с тем вырисовываются типические человеческие черты этой генерации философов и становится понятной её место в эволюции идей.

Философы школы академика А.М. Деборина – это особая генерация и как философов, и как людей. Их акме приходится на вторую половину 1920-х годов. Но как своеобразно это акме! Классическое представление об акме – сорок лет. Из деборинцев практически никто не переступил этот порог. При этом последние семь лет своей жизни философы-деборинцы не могли свободно писать. Стало быть, пик их творческой активности приходится на пятилетие, когда им было приблизительно от 27 до 33 лет. Они все погибли в 1937 году либо несколько раньше или позже. Общей участи избежали разве что те философы 1920-х годов, кто, подобно профессору кафедры истории философии философского факультета МИФЛИ А.А. Ческису, автору книг о Фейербахе и Гоббсе, не дождался репрессий. А.А. Ческис был уже привлечен к разбирательству Комиссией партийного контроля при ЦК ВКП(б), но погиб в 1935 году, попав под московский трамвай. Его потомки до сих пор не уверены в случайности этой смерти.

Что же философы 1920-х годов сделали в своём столь молодом возрасте? Они создали впервые в России Институт философии как научно-исследовательское учреждение. В этом нет ничего случайного.

В дореволюционной России свободное изучение философии было невозможно. Философский факультет в Московском университете закрывался дважды. Первый раз он был закрыт в 1804 году; осталась только кафедра философии. С 1821 года кафедра философии университета не замещалась по указанию Министерства народного просвещения, и лекции не читались. Не потому, что не было кандидатур. Занять кафедру претендовали И.И. Давыдов, И.В. Кириевский и даже И.С. Тургенев. Но попечитель граф Строганов считал, что для государства полезнее, если философию не будут читать в университете. В 1835 году философский факультет был восстановлен, но в 1839–1845 годах кафедра философии вновь оставалась вакантной по тем же причинам. В 1850–1860 годах вообще действовал известный государственный запрет на преподавание философии в светских учебных заведениях России. Новоевропейская философия в её разнообразии не могла быть допущена к читателю по идеологическим соображениям. В 1868 году цензура конфисковала и сожгла тираж первого русского перевода «Левифана» Гоббса. В 1872 году по постановлению Комитета министров был уничтожен тираж двухтомника романов и философских повестей Дидро. В 1914 году работа В.А. Беляева «Спиноза и Лейбниц» была осуждена Святейшим синодом за изложение воззрений Спинозы, и автор не был утверждён в учёной степени. В религиозно-философских обществах начала XX века наших философов-идеалистов регулярно одёргивали за еретическое вольномыслие и призывали последователей Соловьёва и Трубецкого «быть ближе к нам, к православию» [Записки 1908: 15]. Это хорошо видно по опубликованным протоколам. В течение десятилетий философы славянофильства, всеединства, богоискательства пытались выстроить самобытную русскую философию в виде служанки православного богословия. Но русское православие никогда не признавало богословские упражнения Хомякова или «новое религиозное сознание». Православная церковь лишь молчаливо пользовалась сей услужливой философией как каналом активизации своего влияния на образованные слои населения [Шапошников 1989: 49]. Философия естествознания в царской России просто не могла возникнуть. Всякий, кто взялся бы свободно обсуждать мировоззренческие вопросы на основе

данных естественных наук, рисковал поломать свою университетскую карьеру. Историческая литература полна примерами на сей счёт, не будем на них останавливаться. Философское отделение было организовано в Московском университете только за несколько лет до революции, в 1913 году. О создании Института философии в блаженную эпоху Серебряного века не помышляли.

Принятое недавно решение отсчитывать историю Института философии РАН от шпетовского Института научной философии правильно в том смысле, что, может быть, смягчит те исторические разрывы, которые разрезают историю русской философии. Сам Г.Г. Шпет был бы рад такому результату, ибо строил свой институт по модели Ноева ковчега: в нем были все, кроме заведомых мистиков. Но не следует забывать, чем был шпетовский ИНФ по существу своему – научным отделом аспирантуры факультета общественных наук МГУ.

После удаления религиозных философов возможны были две программы развития философии. Одна шла от Плеханова и Ленина и была представлена деборинцами. Самостоятельный академический Институт философии в России впервые был создан ими, советскими марксистами-диалектиками. Он был создан под обширнейшую программу профессиональных философских исследований, просто немыслимую для России когда-либо ранее и в чем-то не перекрытую до сих пор. Программа включала в себя восьмитомную философскую энциклопедию [Корсаков 2010: 122–148] и масштабное издание первоисточников². Сердцевина этой программы – разработка диалектической логики в контексте истории научного познания, истории общества и истории философского мышления. Вероятно, и мироздание наше возникает и развивается по законам диалектической логики. Мне была близка эта задача. Я ее вообще считаю самым интересным из всего, что дала советская философия. Разработка диалектической логики – преимущество советской философии перед западным марксизмом, которое пока не понято.

Была альтернативная интеллектуальная программа, представленная махистами-большевиками. Они задавали тон в партии, их противники (включая Ленина) были в численном меньшинстве. А.А. Богданов не был столь активен как философ после революции, но махистские, позитивистские и прагматистские идеи реализовывал Я.А. Берман, сменивший Г.Г. Шпета на посту директора ИНФ. Эстафету махистов приняли механисты. Победа этого течения означала бы потерю философией её специфики и статуса в познании. Ни о каком Институте философии говорить бы не пришлось. Шла острая борьба, борьба «за» и «против» философии. Но это была борьба, в которой, вопреки новейшим выдумкам некоторых авторов, не применялись насильственно-политиканские методы. Приведу на сей счёт свидетельство А.Я. Зися:

В отличие от разоблачительных собраний начала 1930-х годов, философские дискуссии 1920-х годов были острыми, привлекали внимание научной и в какой-то мере творческой общественности, велись не только в печати, но и на достаточно массовых собраниях, отдельные такие собрания происходили и в Бетховенском зале Большого театра. И привлекали эти собрания публику как раз проблематикой спора. Философское движение того времени не было бесплодным, это была существенная страница в истории нашей культуры и к ней, к её освещению, на мой взгляд, следует обязательно вернуться. Я не могу согласиться с утверждением, согласно которому одна из этих школ – деборинская – была якобы обласкана властями в силу своей чуть ли не сервиллистской политики, а другая – механистическая – была более научной по своим позициям, но находилась в тени и подверглась остракизму. Все было не так. В 1920-е годы деборинцы действительно занимали ведущее положение. Именно они возглавляли Общество воинствующих материалистов-диалектиков, редактировали философский журнал «Под знаменем марксизма» и т. д. Но и

² В 1920-е годы в специально созданной серии вышли сочинения Гоббса, Толанда, Ламетри, Дидро, Гельвеция, Гольбаха, Фейербаха; начато издание собрания сочинений Гегеля.

так называемые механисты чувствовали себя достаточно вольготно, активно выступали в печати, печатали книги и т. п. Так что в особенно угнетенном положении они не находились. Но нельзя не обратить внимания на то, какая разная участь выпала на долю будто «обласканных» и «преследуемых». Трагедией завершилась жизнь большинства представителей «обласканной» школы. Что же касается «преследуемых», то, к великому счастью, ни Л.И. Аксельрод, ни А.К. Тимирязев, ни В.Н. Сарабьянов, ни Степанов-Скворцов, ни Варьяш не подверглись репрессиям, не преследовались в административном порядке. Я тем самым отнюдь не склонен усматривать во всем этом какое-то особое различие в отношении властей к философам неодинаковой ориентации. Все они – и те, кто заканчивал свою жизнь в лагерях, и те, кому посчастливилось оставаться на воле, – все они были «унесёнными ветром». Но было это так [Зись Указ. соч.: 129-130].

Результатом интеллектуальной победы деборинцев над махистами и механистами стало признание высокого статуса философии в науке и культуре, завершившееся в 1928–1929 годах созданием Института философии Комакадемии и первым за 200 лет избранием действительного члена в Академию наук по философской вакансии.

Создание Института философии деборинцами можно замалчивать, но с этим нельзя ничего поделать. Это всё равно останется навсегда. Боюсь, что подлинный интерес к этим людям разовьётся как наше обычное подражание заинтересованности со стороны иностранцев. У нас Ильенкова признали великим философом только после того, как на Западе о нем стали выходить книги.

В отношении деборинцев подобная пертурбация уже случилась с Б.М. Гессеном. Фигура этого философа-комиссара заведомо неполиткорректна. Но нашим эпистемологам приходится усиленно заниматься им, потому что он канонизирован как классик в мировой социальной истории науки, востребован на Западе. Кто поручится, что и с прочими деборинцами не произойдет подобного?

И.К. Луппол произвел своим докладом в Оксфорде не меньший эффект, чем Б.М. Гессен год спустя в Лондоне. Он выступал с пленарным докладом в паре с Николаем Гартманом и любезно беседовал с ним в кулуарах о диалектике [Luppol 1931: 31–38]. Он был одним из главных организаторов прошедшего в Париже Международного конгресса писателей в защиту культуры. Французы по собственной инициативе перевели его книгу о Дидро, из которой узнали много для себя нового об этом своём соотечественнике [Luppol 1936]. Вместе с А.М. Дебориным он заложил у нас традицию систематического изучения философии Нового времени. Но главное, это то, что он стал основоположником истории русской философии как научно-учебной дисциплины. Это до сих пор не признано. Все предыдущие курсы истории русской философии были лишь литературными произведениями. И.К. Луппол организовал систематическое чтение курса коллективом авторов, разработал кафедральную программу курса, начал проводить защиты диссертаций и основал в Институте философии серию первоисточников «Классики русской философии».

И.И. Агол и В.Н. Слепков вместе с А.С. Серебровским и Н.П. Дубининым впервые показали в опытах на дрозофиле, что ген делим и состоит из более мелких единиц, от которых зависят конкретные наследственные свойства. Параллельно они подвергли новейшие генетические открытия философскому осмыслению и предложили решения таких методологических проблем, как проблема сводимости биологических форм к физико-химическим, проблема взаимосвязи внешнего и внутреннего в биологическом детерминизме и проблема влияния среды на наследственность. И.И. Агол сотрудничал и дружил с нобелевским лауреатом Германом Мёллером, а другой нобелевский лауреат, Томас Морган, безуспешно пытался уговорить его остаться работать у него в Калифорнийском технологическом институте.

Вот каково качество людей этой генерации. Мне пришлось знакомиться с каждым из них в самые драматические и трагические моменты их жизни. Особенно тяжело было читать уголовные дела. Чтение, не полезное для нервного здоровья. Когда же оно совершается длительно и систематически, невольно происходит идентификация с теми, кого и о ком читаешь. Мне памятен момент, когда я больше не смог делать выписки из дела. Это было уголовное дело бывшего сотрудника Института философии А.К. Столярова, автора книг о проблеме качественной несводимости. Он был включён в расстрельный список, утверждённый Сталиным, но палачи забили его до смерти в то время, пока список утверждался. Возникло ЧП в отлаженном хозяйстве: сталинский приказ о расстреле нельзя было выполнить. Поэтому в деле появилось медицинское заключение о смерти. В нем, конечно, не говорилось о сути, но мне хватило того, что там было написано. Я навсегда запомнил и без выписок: «сердце цвета варёного мяса», а «в желудке с полтарелки грязной жидкости». Параллельно я встречался с родственниками, потомками погибших философов. Всё это вместе не только помогло сформировать картину человеческого облика людей прошлого, но в совокупности с симпатией к их теоретическим устремлениям привело меня к странному состоянию.

Мне начало чудиться, что я нахожусь в нашем времени по странному недоразумению. Мне настолько стали ясны мотивы, движения души Стэна или Луппола, что я идентифицировал себя с их кругом. Мне было совершенно ясно, что я тоже, как они, вылез бы с заявлением о том, что казалось мне истинным на каком-нибудь заседании, а потом этим поступком меня бы преследовали, доведя до безымянной могилы. Возникло ощущение, что меня просто недострелили и я в нашем времени на законных основаниях представляю тех людей как один из них. Видимо, подобное состояние, находившее на меня временами, чувствовалось окружающими. Правнучке Я.Э. Стэна казалось, что во мне реинкарнировался её прадед. Когда я разыскал неизвестную фотографию молодого Б.М. Гессена и делал о нем в институте доклад, пришедшая на семинар М.С. Киселева говорила: «Ну вот, посмотрите, одно лицо».

Прошу прощения у читателей за столь личные подробности. Я рискнул, решился о них написать, чтобы показать, к чему иногда приводит исследователя погружение в материал. Адекватность воспроизведения человеческих типов покупается весьма странной ценой. По счастью, закон «о персональных данных» и прочие аналогичные затеи наших руководителей избавили меня от прямого контакта с источником духовных перевоплощений и помогли стереть признаки шаманской болезни.

Моей миссией стало дать возможность высказаться поколению философов, которые были лишены своего голоса и погибли, не дожив до творческого зенита. Ведь были уничтожены не только сами философы, но и память об их научных работах. Рукописи изымались при аресте и уничтожались. Напечатанные тиражи пускались под нож. Статьи вырывались библиотекарями из журналов и сборников. Вышедшие книги были помещены в спецхраны³. Немудрено, что современные философы не знают ни имён своих репрессированных коллег, ни названий журналов, в которых те печатались. Но идеи философов всё же можно реконструировать и изложить. Просто нужно много труда и немного удачи. С **реконструкцией поколенческого типажа** всё гораздо сложнее.

Беда в том, что аутентичное воспроизведение духовного облика советских философов 1920-х годов почти невозможно. Что можно найти в воронке от разорвавшегося снаряда? А тут в одно и то же место попадали несколько снарядов, каждый – большей мощности. И воронка каждый раз расширялась, пока не поглотила с собой философов начисто. Те, на чьих руках была их кровь, сровняли и заасфальтировали это место. На себя же нацепили «одежды» уничтоженных, выдавая себя за философов. Так продолжалось несколько десяти-

³ Мне удалось переиздать книги А.М. Деборина, Я.Э. Стэна, Н.А. Карева, И.А. Агола, И.Я. Вайнштена, Ф.Е. Тележникова, А.А. Ческиса.

летий. А потом одно из вновь пришедших поколений свезло на образовавшийся пустырь кучи мусора и сказало, что искать на этой свалке нечего. Вот приходится, так сказать, «откапывать» убитых философов, устанавливать их личности, вызывать свидетелей, приглашать родственников.

Когда говорят о характерных чертах какого-либо поколения, опираются на воспоминания: либо собственные, либо оставленные современниками ушедшего поколения. В нашем случае философская генерация была уничтожена поголовно в молодом возрасте. За ними последовали их жены (почти все), потом дети (кто в детдом, кто в ссылку по достижении совершеннолетия). Затем та же участь ждала их друзей и знакомых. Это не преувеличение. Учёный секретарь Ленинградского отделения Института философии П.А. Буханов был исключён из партии и арестован, потом расстрелян с формулировкой «за дружескую связь с врагом народа». Вспоминать было некому.

Какие источники в этом случае доступны? Во-первых, письма из заключения тех, кто был к нему приговорён и умер в тюрьме и лагере. Дочь В.К. Серёжникова передала такие письма в личный фонд отца в ГАРФ. Внучка Ф.Е. Тележникова опубликовала письмо деда при переиздании его книги. Есть эпистолярные документы в персональных и уголовных делах. Во-вторых, источником могут быть воспоминания тех, кто вышел из заключения. Среди самих философов таких почти нет (А.З. Васильева, Г.И. Григоров, В.Д. Резник). Но есть воспоминания тех, кто с ними сидел. В-третьих, семейные предания, зачастую сохранившиеся уже в третьем-четвертом поколении. Наконец, есть уникальные предсмертные свидетельства самих героев, чудом дошедшие до нас. К ним относятся воспоминания А.М. Деборина, найденные его вдовой после его смерти, сохранённые ею и опубликованные мной. Другой случай – воспоминания И.И. Агола о детстве и юности, названные «Хочу жить», которые автор сумел издать накануне ареста. Они были сразу же изъяты и уничтожены. Но его сын разыскал один экземпляр и переиздал книгу. Есть ещё один род мемуарных текстов: воспоминания преследователей и проработчиков, но они очень фрагментарны.

Философы 1920-х годов лишены возможности высказаться о себе сами. В дальнейшем я буду приводить цитаты из собранных свидетельств, чтобы рассказ соответствовал замыслу настоящей книги, когда представители поколения рассказывают о самих себе.

* * *

Прежде чем попытаться сформировать общее представление о поколенческом типаже философов 1920-х годов и вычленив основные его черты, приведу несколько зарисовок с натуры, которые помогут наглядно показать их человеческий облик. Ведь мы практически ничего не знаем о них. Трагедия этого поколения не только в том, что оно столкнулось с расхождением идеалов и их реализацией, не только в том, что оно всё погибло. Но и в том, что гибель его прошла бесследно. Оно осталось невостребованным последующими поколениями.

Первым, кто попытался исправить несправедливость в отношении советских философов поколения 1920-х годов, был учитель всех этих людей, академик А.М. Деборин. Он писал ходатайства, по которым выносили решения об их реабилитации. Незадолго до смерти он написал воспоминания. Но не было никакой надежды их опубликовать. Вдова нашла напечатанные им на печатной машинке странички после его смерти. Потом они пятьдесят лет пролежали в его столе. Мне привелось их опубликовать. В них А.М. Деборин писал:

История не есть бездонная пропасть, куда проваливаются человеческие создания, не оставляя по себе на поверхности Земли никакого следа. Та группа лиц, о которой я здесь говорю, заслуживает того, чтобы сохраниться в памяти народа. Это были люди, бесконечно преданные интересам рабочего класса, своего народа, коммунистической партии и величественному идеалу коммунизма. Они заплатили своей жизнью не потому, что совер-

шили какие-нибудь неблагоприятные проступки или не были достаточно преданы партии, а, как раз, наоборот, они погибли именно потому, что были до конца преданы своему идеалу, своим убеждениям, учению марксизма-ленинизма. Они погибли в результате гнусных интриг, зависти к более одаренным и более честным в широком смысле слова. Мой долг – не дать исчезнуть из памяти людей их имена. К сожалению, нет возможности восстановить их теоретические труды, которые не только были изъяты, но и уничтожены [Воспоминания академика А.М. Деборина 2009: 124–125].

Я.Э. Стэн, по всеобщему признанию как друзей, так и противников, был самой яркой фигурой в дебординской школе. А.Г. Авторханов оставил такую зарисовку: «Стэн, высокий стройный мужчина с рыжей шевелюрой, сильнейший оратор и неотразимый диалектик в теоретических дебатах» [Авторханов 1976: 154].

Вдова Бухарина А.М. Ларина вспоминала:

Как-то раз, проведив Николая Ивановича, я брела в одиночестве по лесной дорожке парка; издали я заметила Яна Эрнестовича Стэна. Он отличался независимым характером; на Сталина смотрел всегда сверху вниз, с высоты своего интеллекта, за что расплатился ранее многих. В гордом облике этого латыша с выразительным умным лицом, сократовским лбом и копной светлых волос было что-то величественное. Ян Эрнестович шел мне навстречу вместе со своей женой Валерией Львовной. Оба молодые, красивые, счастливые, влюблённые [Ларина 2002: 144–145].

В процессе реабилитации нужны были отзывы свидетелей, в которых бы давалась характеристика человека. О Я.Э. Стэне такой отзыв написал В.Я. Кирпотин:

Я учился одновременно с Яном Стэном на курсах марксизма при Коммунистической академии и в ИКП на философском отделении. Ян Стэн был подававшим большие надежды выдающимся молодым учёным. Таково было всеобщее мнение и преподавателей и слушателей. Он хорошо знал труды классиков марксизма. Он с увлечением изучал диалектику, особенно привлекала его внимание «Феноменология духа» Гегеля. Интересы его были разносторонни. Много времени он уделял истории философии, логике, математике и естествознанию. Помню, он читал книгу Хвольсона об успехах современной физики, только что вышедший «Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности» Павлова, работы по теории относительности и многое другое. Ян Стэн хорошо владел словом. Он с успехом принимал участие в дискуссиях против механистов, в опровержении теперь уже забытого «енчменизма». Ян Стэн был хороший товарищ, скромный, никогда не кичился своими знаниями или своим партийным положением, но был твёрд и упорен в своих убеждениях [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1806. Л. 165].

Приведу рассказ В.Д. Резника, который учился вместе с Я.Э. Стэном и дружил с ним: Пришло время сказать о Стэне – одной из ярких фигур нашего кружка. В январе 1931 года обнародовано постановление ЦК о журнале «Под знаменем марксизма», отбрасывающее в сторону самую влиятельную группу философов. В постановлении говорится, что журнал попал под влияние «группы Деборина, Карева, Стэна и пр.». Прошло уже около шестидесяти лет, как создана эта удивительная формулировка: «меньшевистствующий идеализм», но никто не пытался объяснить, что это значит. Через несколько дней после опубликования постановления Деборин, Карев, Стэн (и я, грешный) были единогласно исключены из Общества диалектиков-материалистов. Особенно сильно постановление ударило по Стэну, который был как бы негласным советником ЦК по философским вопросам. Он и раньше информировал нас о курьёзных претензиях Сталина в учении о диалектике. Сталин спросил Стэна: «Как вы понимаете закон отрицания отрицания, на котором так настаивает Энгельс?» Было известно, что Сталин Энгельса недолюбливает. Стэн постарался как можно яснее объяснить, что закон отрицания отрицания логически уста-

навливает различие между изменением и развитием. Сталин некоторое время ходил молча, а затем сказал: «Вы так думаете, а я полагаю, что мы отлично обойдёмся без этого закона». Таково было первое открытие Сталина в теории диалектики. И он не забыл об этом своём заявлении. В «Кратком курсе» автор сократил законы диалектики с трёх до двух. Ян Стэн – крупный, подвижный, с большой шапкой по-северному светлых волос, при всяком резком движении головы распадавшимися прядями. Гневным он становился легко, и в гневе бегал по комнате, извергая проклятия, затем вдруг успокаивался. Мне никогда не приходилось видеть столь образованного и умного человека, который смеялся бы так много, как Ян Стэн. Смеялся от веселья, для осмеяния противника в споре, сопровождая ироническим смехом характеристику персонажа, в котором никто из нас не умел найти ничего смешного. Общаясь с ним хоть полчаса, каждый мог сказать, что перед ним ярко выраженный холерический темперамент. Но шумное легкомыслие было только верхним слоем. Неожиданно он высказывал серьёзные и тонкие мысли, доставлявшие истинное удовольствие. Можно сказать, что у него был талантливый ум, – слово «талантливый» подчёркивает его специфичность. Две его небольшие статьи оказались началом обширной философской дискуссии с «механистами». Мы обычно находили его сидящим на стуле посреди большой красной комнаты, а кругом на полу грудями лежали книги самого разнообразного содержания. Даже строгий в оценках Рязанов считал его очень образованным человеком и сделал своим помощником по институту. Стэн поглощал книги в немислимом изобилии, так как поставил нешуточную цель: написать материалистическую феноменологию духа; если воспользоваться выражением Ленина, он хотел прочитать гегелевскую феноменологию материалистически. Но обширность и сложность задачи лишили его воли, и поэтому за годы наших с ним отношений он так и ничего не написал, хотя потенциально он был человеком большого духовного размаха. Когда была выпущена троица Митин, Юдин, Ральцевич для нападения на группу Деборина, Карева, Стэна, Стэн расправлялся с их инсинуациями, разнося их в пух и прах. Здесь и пригодился зажигательный темперамент Стэна в сочетании с точностью мысли [Днепров 1991: 197].

О Я.Э. Стэне как о преподавателе философского факультета МИФЛИ вспоминал академик Т.И. Ойзерман: «Запомнился Я.Э. Стэн. Это был рослый красивый мужчина, умевший говорить на языке философии, но ему доверяли вести только семинары по французскому Просвещению и материализму» [Как это было... 2010: 129].

В автобиографии, незадолго до последнего ареста, Я.Э. Стэн указал: Закончил ранее начатые работы «"Фауст" Гёте и "Феноменология духа" Гегеля», «"Феноменология духа" Гегеля в свете материалистического понимания истории». Здесь я даю разбор высшей формы синтеза, которого достигла буржуазная философская мысль в гётевском «Фаусте» и в гегелевской «Феноменологии духа», и анализ условий краха этого синтеза в последующий период развития. Для «Большой советской энциклопедии» пишу диалектику «Капитала» К. Маркса [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1806. Л. 199].

Можно себе представить, чего лишилась наша философия с гибелью рукописей этих главных произведений Я.Э. Стэна при его аресте.

Когда реабилитировали Б.М. Гессена, отзыв о нем для следствия написал лауреат Нобелевской премии академик И.Е. Тамм:

Я был дружен с Б.М. Гессеном с детства, которое мы провели в одном и том же городе – Елисаветграде. Мы учились в одном классе со дня поступления в гимназию и до её окончания в 1913 году, после чего мы вместе учились в Эдинбургском университете в Англии в 1913–1914 гг. Нас всегда связывала тесная дружба, к тому же примерно с 1928 г. до самого ареста Б.М. Гессена в 1936 г. мы работали в одном и том же учреждении – физическом факультете МГУ. В научном отношении Б.М. Гессен, по моему мнению, был самым крупным из всех известных мне философов-марксистов, работавших по проблемам

современной физики, и резко выделялся среди них сочетанием глубокой эрудиции и четкости мысли как в области философии, так и в области физики. В политическом отношении Б.М. Гессен был наиболее последовательным и глубоко убежденным коммунистом из всех тех людей, с которыми мне приходилось близко общаться в моей жизни. Коммунистическое учение и марксистская философия определяли не только его политические и философские убеждения, но всю его жизнь и деятельность. С самого момента поступления в партию в 1919 году коммунистическое мировоззрение не на словах, а на деле определяло весь его жизненный путь, его отношение к окружающему, все серьезные решения, которые человеку приходится принимать в жизни. В наших дружеских беседах всегда, когда в бурные двадцатые и в первой половине тридцатых годов у меня возникали какие-либо сомнения в политических вопросах, Б.М. Гессен с необыкновенной ясностью и логичностью мысли умел устранить во мне эти сомнения и убедить меня в правильности и исторической необходимости той линии, которую проводит партия. Поэтому я убежден, что Б.М. Гессен не только не был виновен в каких бы то ни было преступлениях, но что его жизнь и деятельность может служить образцом жизни подлинного коммуниста. Герой Социалистического Труда, академик Иг. Тамм [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-29017. Л. 305–306].

Вот что вспоминал об И.К. Лупполое его слушатель:

Встречаясь с И.К. Лупполом, каждый раз я удивлялся, как внутреннее благородство этого человека отражается на его внешнем облике. Выше среднего роста, светловолосый, с большими серо-голубыми глазами, всегда подтянутый, элегантно одетый, всем своим обликом он производил впечатление удивительно спокойного и рассудительного человека. За годы знакомства с ним я никогда не слышал повышенного голоса, раздражительного тона. Он был всегда спокоен и вежлив. Луначарский был оратор и трибун, а Луппол – учёный, философ. В выступлениях Луппола не было той страсти, лихости и эмоциональной напряжённости, которая была свойственна Луначарскому. Он свои доказательства как бы раскладывал по отдельным полочкам, суммируя их затем в окончательные выводы [Березин 1990: 95].

Профессор МГУ Б.Г. Сафронов, студентом слушавший лекции И.К. Луппола, рассказывал:

Обладавший особым природным педагогическим талантом, Иван Капитонович умел заинтересовать, как никто, слушателей содержанием своих лекций. В них каждое слово было на своём месте, имело свой удельный вес, обладало силой убеждения. Каждой лекции был присущ свой простой, ясный и мобилизующий стиль, который электризовал студенческую аудиторию, делал её очень деятельной [Нирка 1988: 125].

Об И.Я. Вайнштейне академик А.М. Деборин высказался так:

Если позволено будет сказать несколько слов об этом «террористе» (по провокационному заявлению Митина), то я могу охарактеризовать Вайнштейна как святого человека, как ни странно могут показаться в моих устах такие слова. Для этого человека ничто в мире не существовало, кроме учения марксизма-ленинизма. Он не проявлял никакой заботы о материальных интересах, вообще о чем-либо «земном», существовал для науки о социализме-коммунизме. И этот человек исчез с земной поверхности. Имя его мало кому известно. Книга его была изъята из обращения, и её найти нельзя. Впрочем, зачем нужен Вайнштейн, раз есть воплощение всей человеческой мудрости в одном лице. Остальные люди излишни, можно обойтись без них. Человек – ничтожный «винтик» [Воспоминания академика А.М. Деборина: 125–126].

Академик Н.П. Дубинин писал в своих воспоминаниях об И.И. Аголе: «Он был на редкость красив, его матовое лицо освещали глубокие темные глаза. Будучи левшой, он смешно оперировал кисточкой, когда разбирал на стекле эфиризированных дрозофил» [Дубинин 1989: 85].

Академик Б.М. Кедров писал вдове расстрелянного философа И.П. Рочена, проведеншей годы в лагерях, и его дочери Айне:

Получил Ваше сообщение о реабилитации и восстановлении в партии Ивана Петровича, моего близкого товарища, а Вашего – мужа и отца. От души рад, что и в данном случае справедливость восторжествовала над злом и насилием. Все эти годы, с момента его ареста, я никогда не сомневался в его невинности, а потому особенно радуюсь, что хотя, увы, и посмертно, но его чистое и честное имя восстановлено. Я думаю о том, что если после Ивана Петровича остались какие-нибудь рукописи, статьи, переводы и т. д., словом работы, которые можно было бы напечатать, я охотно бы помог Вам в этом. Ещё раз – радуюсь вместе с Вами, и горюю, как и Вы, о безвременной смерти близкого Вам и мне человека.

Совсем немного свидетельств осталось о Н.А. Кареве. Насколько Я.Э. Стэн был углублён в фундаментальные теоретические вопросы, настолько Н.А. Карев откликнулся на весь спектр тогдашних философских споров. Именно ему А.М. Деборин передал исполнение обязанностей директора Института философии, когда заболел сердцем в условиях начавшейся политической травли. Приведу слова дочери Н.А. Карева, которую удалось разыскать:

В феврале 1933 г. мы с мамой встречали поезд из Ленинграда. Отчётливо помню длинную платформу; очень много народу. Я иду между отцом и мамой, они держат меня за руки. Смотрю на фотографию отца и ясно вижу его: невысокий, лёгкий, быстрый. Немного коренастый, надо лбом густой ёжик тёмно-русых волос, взгляд пристальный, немного прикрывает глаза.

О Н.А. Кареве рассказал в своей мемуарной статье о поколении 1920-х годов В.Д. Резник:

Карева – одного из многообещающих философов поколения – связывали с Зиновьевым. Но я, хотя был с Каревым почти дружен, ни разу не слышал от него фамилии Зиновьева. Карева и меня объединял интерес к философским проблемам. Мы одинаково оценивали значимость ленинских конспектов «Науки логики» Гегеля. Карев привносил в наши беседы гораздо более высокую философскую культуру, а я – результаты моей работы о логике «Капитала» Маркса. Карев был не только умён, разносторонне культурен, но, так сказать, на редкость сообразителен: он работал в несколько раз быстрее меня и при этом не упускал ничего глубокого и важного. К нему необычайно подходило определение поэта: «быстрый разумом». Говорил он тоже быстро и очень чётко, двигался легко и быстро. Я относился к нему не только с сердечной привязанностью, но и с заслуженным восхищением. Он много серьёзных задач себе поставил, но ни одной не успел осуществить: он был расстрелян примерно в то же время, что Зиновьев и Каменев. Да, революция дала толчок многим талантам явиться и начать своё движение вверх. Это было в своём роде поколение талантов (и Карев был одним из ярчайших). Но пуля в затылок не позволила поколению войти в зрелость. Так что Сталин расстрелял целое поколение, если иметь в виду его передовых людей [Днепров Указ. соч.: 188–189].

В воспоминаниях, собранных сыном о Д.И. Гачеве, занимавшемся философскими вопросами музыки, есть отзыв великого композитора А.И. Хачатуряна:

По своей внешности Гачев заметно выделялся. У него был острый взгляд, горячий темперамент, быстрые, порывистые движения. Это был человек большого ума, большой

культуры. Казалось, что, несмотря на свою любовь к музыке и её всестороннее изучение, ему словно «тесно» в мире музыки и что он может смело вторгаться в область смежных искусств [Гачев 1989: 168].

Музыковед Д.В. Житомирский вспоминал о Д.И. Гачеве:

Неистовость проявлялась и в его внешнем облике. Смуглый и сухощавый, с очень чёрными и жёсткими волосами, в глазах – и фанатический огонёк, и доброта, и даже детскость; движения энергичны, русская речь, иногда немного неправильная – ораторски приподнята, чуть театральна, но без всякого самолюбования – только от неподдельного чувства и заинтересованности. Когда мы с ним вместе шагали по улицам Москвы и, особенно, по дорогам Подмосковья, он неизменно сопровождал наш шаг «Ракоци-маршем» Берлиоза. Когда Гачев увлекался ритмом и кипучей мелодией берлиозовского марша и, что называется, «входил в раж», мне казалось, что он уже не развлекается, не просто изливает избыточную энергию и жизнерадостность, но яростно ораторствует, героически призывает, обращается к какой-то воображаемой толпе и воспламеняет её [Там же: 171–172].

Вдове А.К. Столярова на самом излёте оттепели удалось поместить небольшую заметку памяти мужа в «Вопросах философии»:

А.К. Столяров был весьма разносторонним научным работником – философом. Он охватывал в своих исследованиях широкий круг проблем и обладал способностью сочетать самые широкие философские обобщения с постановкой актуальных вопросов своего времени. Его умение глубоко проникнуть в суть затронутых им вопросов, знание и чутье жизни, способность схватить главное, существенное делали его работы особенно ценными [Каспарова и др. 1967: 125].

Ю.Р. Закгейм не был деборинцем, но принадлежал к тому же философскому поколению. Преподавал в МГУ философские проблемы биологии. Его вдова, прошедшая лагеря, рассказывает в книге воспоминаний:

Я не знаю никого, кто так бы любил педагогическую работу, как Юдель. Он преподавал историю биологии. Рассматривая какой-либо период, будь то XVI или XVIII век, он старался, чтобы студенты вжились в эту эпоху, почувствовали её быт, религию, искусство. В 1935 году было 250-летие со дня рождения Баха. Из Ленинграда приехала капелла с двумя концертами: «Страсти господни по Матфею» и «Месса». Юдель решил повести своих студентов на «Страсти». Он собрал их в аудиторию (и я там была) и рассказал о творчестве Баха, о содержании «Страстей». У него был хороший, хотя и небольшой голос и абсолютная музыкальность. Он даже напел некоторые темы из «Страстей». Назавтра мы все (человек пятнадцать) пошли в консерваторию. Я думаю, никто из нас без подготовки не пережил бы этот великолепный концерт так горячо. Я до сих пор помню пережитое потрясение, я не могла сдержать слез во время исполнения. То же было с другими. В ту же зиму он повёл весь свой курс на выставку картин XVII века (студенты тогда изучали историю естествознания XVII века). Картины были в основном на библейские сюжеты, а кто в 30-х годах знал Библию? Юдель так интересно рассказывал о картинах, о художниках, что около нас образовалась большая толпа – все хотели слушать такого экскурсовода. Юдель очень любил, когда к нам заходил кто-либо из его бывших учеников, иногда даже приехавших в Москву всего на пару дней. Он не знал, куда посадить гостя, как обласкать. Они разговаривали часами о жизни и работе друг друга. Сам он очень любил и уважал своих учеников, интересовался их жизнью и творческой судьбой [Адамова-Слиозберг 2012: 238].

По словам сына Ю.Р. Закгейма:

Мне выпало лишь мимолётное и очень давнее знакомство с теми, кто учился у папы. Почти ничего не помню, кроме одного: все отзывы были восторженными. Для характеристики стиля его преподавания приведу рассказ мамы. Предположим, изучалась тема: взгляды на высшую нервную деятельность в XVII веке. Вначале папа проводил экскурсию в Музей изобразительных искусств, во время которой на профессиональном уровне рассказывал об эволюции искусства в этом веке, её связи с эволюцией философии, о смене стилей, ведущей тематики. А потом на лекции использовал эти знания, увязывая их с развитием науки. От попытки распространить папин опыт на практику других преподавателей пришлось отказаться, почти ни у кого не оказалось такой ширины взглядов, которая для Закгейма была естественной [Воспоминания о Ю.Р. Закгейме 2015: 211–212].

Некоторые наши коллеги ещё застали О.М. Танхилевич. А.Л. Субботин рассказывал мне, что видел её в редакции «Вопросов философии» – с уже угасшим после лагеря взглядом. Неповторимый облик О.М. Танхилевич запечатлели Г.И. Григоров и А.Л. Войтоловская, которые знали её по ИКП, а потом встречались с ней в лагере.

Вот рассказ А.Л. Войтоловской:

В ней сочетался блеск таланта и душевная прелесть, женская красота и обаяние со строго логическим мышлением. В Институте красной профессуры, куда она поступила до 20 лет, об Оле говорили с восторгом и восхищением преподаватели и студенты, а в 23 года она уже стала гонимой. И так на протяжении сорока лет. Ольга занималась сутками с азартом, вдохновенно, много времени отдавала партийной пропагандистской работе, как все студенты Института красной профессуры, и преподавала историю философии в военной академии. Я смотрела на неё с интересом – о ней шла слава, как о восходящей звезде, умнейшей женщине и талантливом преподавателе. Она была очень хороша собой, всегда оживлена, говорила громко, часто смеялась, постоянно окружена товарищами. То была группа работников Ленинградского отделения Комакадемии, преподавателей вузов, большей частью закончивших Институт красной профессуры. В знании ей всё давалось удивительно легко, в жизни – непомерно трудно. Особенностью её ещё было то, что детское умение мечтать и фантазировать у нее превратилось в умение широко охватить предмет и предугадать перспективы развития. Любая обстановка не мешала ей уйти с головой в то, что в данный период времени становилось смыслом существования, будь это увлечение Карнапом, Винером, Лейбницем, Гофманом, Ростаном, Рильке, математической логикой, или преподаванием немецкого языка, перепиской с учёным физиком, или посылками Танечке и её детям предметов своего шитья и вязанья. Разные по характеру области знаний и деятельности не превращались в хаос, а гармонично сочетались и последовательно чередовались. В ранней юности она совмещала марксизм и большевизм с увлечением Блоковской «Прекрасной дамой», Гофманом и мистикой, писала поэму «Даймон», потом, как платье, сбросив всё это, безраздельно отдавалась партийной работе. Она была соткана из духа и творчества, не нуждалась ни в чьей подсказке, самостоятельна в поисках: натура страстная, не останавливающаяся на полпути в своих увлечениях идеями и людьми [Войтоловская 1991: 253–260].

Муж А.Л. Войтоловской, историк Н.И. Карпов, придя домой после заседания в Комакадемии, в восторженных тонах говорил о блестящем докладе О.М. Танхилевич о французской просветительской философии:

Ты знаешь, там много способных людей, но Ольга произвела впечатление свободно парящей в небе птицы. Мысли и слова слиты, внимание всех ни на минуту не ослабевает, она покоряет аудиторию доказательностью, логикой, остроумием, эрудицией, филигранностью речи. У этой женщины большое будущее [Там же: 264].

Об О.М. Танхилевич вспоминает её однокурсник Г.И. Григоров:

Я познакомился с ней в 1922 году, когда поступил в Институт красной профессуры. Однажды по главной лестнице в ИКП поднималась симпатичная, хрупкая девушка с очень живыми глазами и двумя туго заплетёнными косичками. Я принял её за гимназистку старших классов, подошёл к ней и спросил: «Девочка, к кому ты идёшь?» Она улыбнулась и ответила: «Иду на философский семинар». Это была Ольга Танхилевич. Вскоре мы встретились на занятиях по философии. Ольга, как 51 и я, училась на философском отделении, занималась в семинаре А.М. Деборина, но иногда посещала и семинар Л.И. Аксельрод, в котором занимался и я. Ольга Танхилевич на философском отделении ИКП специализировалась на логике. Она переводила много статей с немецкого на русский язык и вообще была одаренным от природы человеком. Я внимательно присмотрелся к Ольге, она была не просто симпатичной, как мне показалось при первой встрече, а очень привлекательной. Несколько ироничное выражение лица с тонкими чертами, очень выразительные живые глаза, хрупкая изящная фигурка, порывистые движения. В этой молодой женщине, выглядевшей как гимназистка, чувствовался сильный характер. Познакомившись с Ольгой поближе, я понял, что она – человек необычайно одарённый, самобытный, свободолюбивый, широко эрудированный, очень работоспособный и волевой, и, что для меня было неожиданным, мягущийся. Вскоре мне открылось в Ольге уникальное качество, которое я больше не встречал ни у одного человека. В ней шла скрытая, никогда не прекращающаяся, напряжённая внутренняя борьба, обусловленная, с одной стороны, её без преувеличения огромным духовным и интеллектуальным потенциалом, с другой – осознанием невозможности реализовать этот потенциал в полной мере. В результате постоянное внутреннее напряжение, жёсткий самоконтроль, что трудно выдержать обычному человеку. Нужно обладать очень большой духовной силой. При этом необычайно широкий диапазон интересов и органическая потребность всесторонне изучить интересующую её проблему. Вот только некоторые области, в которых она ещё в молодости достигла очень больших высот: философия, математическая логика, иностранные языки, педагогика, восприятие и понимание поэзии. Если её интересовал какой-то философ или поэт, писавший на незнакомом ей языке, она без труда осваивала новый язык, чтобы читать его произведения в оригинале. Ольга знала бесчисленное множество стихов, могла часами читать их наизусть, она свободно владела несколькими европейскими языками, латынью, греческим и древнееврейским. Трудно было представить, что эта хрупкая, эмоциональная женщина обладала сильнейшей волей и способностью к безжалостному самоконтролю. Она постоянно ставила перед собой новые цели, а когда достигала их, наступало некоторое разочарование, за которым следовало увлечение новой целью. Так и с её замужествами, – до замужества она в своих избранниках видела идеал, а после довольно быстро понимала, что до идеала далеко. А поскольку у неё дела не расходились с убеждениями и принципами, следовал развод. Я был знаком с первым и вторым мужьями Ольги. Они по своему интеллектуальному, духовному и нравственному уровню, по волевым качествам, самокритичности и требованиям к личности человека стояли несравненно ниже Ольги. Думаю, что только крупный писатель смог бы достаточно полно нарисовать образ Ольги Танхилевич. Удивительно, что при большом разнообразии интересов Ольга со страстью, присущей её натуре, с молодых лет окунулась в политические проблемы. Она рассказывала, что ещё в гимназические годы увлекалась одновременно А.И. Герценом и К. Марксом. Герцена она называла «чародеем и мудрецом», считала умнейшим и образованнейшим революционным демократом. Маркс, по её мнению, был гениальным учёным в области политэкономии, а его теорию пролетарской революции Ольга считала слабой, однобокой, нежизненной. Философией занялась серьёзно в семнадцать лет, особенно много изучала Лейбница, Гегеля, Канта и Спинозу. Неутолимая жажда познания в сочетании с природными способностями и редкой трудоспособностью были основой её глубоких и одновременно очень обширных знаний в самых различных областях, вплоть до мистики и каббалы. Поэтому Ольга пришла в ИКП уже с большим

научным багажом. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что в ИКП не было более талантливого студента, чем Ольга Танхилевич, о ней с восхищением говорили и преподаватели, и студенты. В научных интересах Ольги особое место отводилось Лейбницу – философу, математику, физику и языковеду. Лейбниц предвосхитил принципы современной математической логики. Ольгу привлекала многогранность научных интересов Лейбница и его теория монад – монадология, представляющая мир как совокупность бесчисленных психически активных субстанций. Всё это было близко общему духовному складу и характеру мышления Ольги. В те давние годы официальная советская наука к математической логике, как и ко многим другим новым направлениям в науке, интенсивно развивавшимся на Западе, приклеила ярлык буржуазного идеализма и тем самым исключила на много лет возможность широкого развития этих очень перспективных направлений. Несмотря на это, Ольга занималась тем, что её влекло, решительно отменяла всякие ограничения. Поскольку у неё не было проблем с иностранными языками, она основательно прорабатывала всё, что публиковалось за рубежом в области математической логики. В те годы крупнейшими авторитетами в этой области считались Бертран Рассел – философ, математик и крупный общественный деятель, и Альфред Уайтхед, тоже философ и математик. Их фундаментальный труд «Основания математики» был настольной книгой Ольги. Она объяснила мне, что авторы этой книги философски обосновали логическую состоятельность всей математики. Я всегда получал большое удовольствие от бесед с Ольгой на самые различные темы, после каждой беседы узнавал что-то новое, даже давно знакомое иногда открывалось в несколько неожиданном ракурсе. Ольга умела просто излагать сложные проблемы и теории, что свойственно тем, кто хорошо знает предмет, о котором говорит. Ольга в двадцать три года обладала сильно развитым системным мышлением. Это позволяло ей глубоко и в разных аспектах анализировать события, явления, поведение и высказывания людей [Григоров 2005–2010. Кн. 1 : 299; Кн. 2: 341; Кн.: 3: 117–12].

ИКП окончен. На дворе 1927 год. О.М. Танхилевич работает в философском секторе Ленинградского института марксизма, на базе которого потом было организовано Ленинградское отделение Института философии. Продолжает Г.И. Григоров:

В этот же день я побывал у Ольги Танхилевич, где встретил моего друга Володю Ячика. Ольга сидела за пишущей машинкой, печатала перевод с немецкого какой-то статьи по логике. Мы с Володей начали разговор о логике в политике, пришли к общему мнению, что в XX веке логика вообще не в почёте, поэтому бессмысленно ждать от политических деятелей, особенно уже находящихся у власти, логически обоснованных действий. Оля услышала наш разговор, перестала печатать и подключилась к обсуждению. Она сказала, что логика не терпит извращения и фальсификации фактов, поскольку в субъективном сознании логика должна отражать правду жизни, там, где нет правды, нет и логики. Я затронул несколько иной аспект той же проблемы: «Где нет свободы мысли и борьбы различных мнений, там не может развиваться логическое мышление. Без свободы нет логики». После такой речи экспансивная Оля расцеловала меня. Я очень ценил мнение этой необыкновенной женщины, её поцелуй воспринял как лучшую оценку моей позиции [Григоров Кн. 1: 489-490].

А.Я. Зись оставил зарисовку облика еще одного слушателя первого набора философского отделения ИКП В.А. Юринца, ставшего позже украинским академиком и также расстрелянного:

Юринец – скорее флегматик, тихая спокойная речь, сосредоточенность на самой рассматриваемой проблеме и т. д. Юринец был более близок к направлению «диалектиков» в деборинской интерпретации. Диапазон научных интересов Юринца был многообразным. Его исследования были посвящены западноевропейской философии XX в. (Гуссерль,

Фрейд), философским вопросам естествознания, занимали его и вопросы искусства, особенно поэзия. Под его руководством в начале 1930-х годов авторским коллективом был создан учебник для вузов «Диалектический материализм» (книга была опубликована на украинском языке). В сущности, это был не учебник, а коллективная монография, посвящённая актуальным проблемам философской науки. Юринец родился в Галиции (нынешней Западной Украине), входившей до Первой мировой войны в состав Австро-Венгрии, учился в Вене и в 1920 г. окончил Венский университет. Правда, он вскоре оказался в России и в 1921 г. окончил аспирантуру у Деборина. И, следовательно, во-первых, зарубежное происхождение, австрийское образование и кто его знает, какие остались там связи и, во-вторых, непосредственный ученик лидера «меньшевистствующих идеалистов» – основания для подозрений сами собой напрашивались [Зись 1996: 134].

Рой и Жорес Медведевы в книге воспоминаний рассказали об интересной черте их отца, философа А.Р. Медведева:

Отец всегда много писал, но почти ничего не публиковал в то время. Он был старшим преподавателем философии в Военно-политической академии имени Ленина, считался там лучшим лектором. Любил говорить друзьям и дома, что начнёт публиковать работы и лекции после того, как ему исполнится сорок лет. «Философ должен обладать зрелым умом, – говорил он часто, – его мысли должны быть взвешены годами раздумий и опыта. Молодой философ – явление неестественное и печальное». И приводил множество примеров, когда ранние работы знаменитых философов полностью противоречили их исследованиям, написанным в зрелом возрасте. Для рукописей отец покупал только лучшие толстые тетради с гладкой бумагой. В эти тетради он переписывал начисто свои работы, тексты лекций, конспекты некоторых книг. Он писал мелким, но необыкновенно чётким и красивым почерком. Этими тетрадями был заполнен весь огромный письменный стол отца. В день ареста ему было 39 лет и 7 месяцев [Медведев, Медведев Указ. соч.: 5].

Сорокалетний порог философы 1920-х годов не переступили.

* * *

Попробую теперь нащупать несколько общих черт поколения философов 1920-х годов. Первое, что можно отметить, говоря о периоде формирования личности, это страстная тяга к знанию, науке, философии. Страстность в особенности подогревалась тем, что для удовлетворения страсти не было условий. Поэтому любовь к философии естественно соединялась с ненавистью к социальному порядку, который стоял на пути её удовлетворения. Отсюда понятны раннее интеллектуальное и социальное созревание, начитанность и зрелость теоретических убеждений, определённая жизненных позиций этих людей в молодом возрасте.

Вспоминает дочь Н.А. Карева:

Мой отец, Николай Афанасьевич Карев, родился в 1901 году. Его отец – крестьянин, рано умер. Воспитывался в семье отчима, народного учителя. У моего отца было три сводных брата. После смерти матери и отчима сводные братья оказались в детдоме. После окончания школы он забрал их, всех троих, из детдома, устроил с жильём, помогал. После окончания сельской школы поступил в реальное училище, которое окончил в конце 1917 года. С четвёртого класса реального училища зарабатывал уроками.

Потом годы революции и Гражданской войны. А в 1923 году Н.А. Карев публикует свою первую статью: о Гендрике Де Руа, голландском последователе и критике Декарта. С тех пор об этом философе у нас была только одна статья, принадлежавшая Б.Э. Быховскому.

Вот выдержки из автобиографии Я.Э. Стэна:

Родился в семье батрака. До двенадцати лет был пастухом. Учился в сельской начальной школе. После двенадцати лет работал в сельском хозяйстве по найму. До тринадцати лет находился под влиянием религиозной идеологии. Дедушка в раннем детстве обучал меня грамоте по Библии. В тринадцатилетнем возрасте пережил кризис, который привёл меня к разрыву с религией и толкнул меня к чтению Э. Геккеля и Л. Бюхнера. Книга Эрнста Геккеля «Мировые загадки», о существовании которой впервые узнал из одной проповеди местного пастора, стала моей любимой книгой. Страстная любовь к природе и интерес к вопросам естествознания охватили и заполнили всю мою детскую душу. Наблюдал окружающие явления природы, собирал коллекции камней, растений и насекомых. Прочитав «Астрономию» Фламариона и заимствовав у соседа старый морской бинокль, изучал по книгам звёздное небо. Простудировав «Школу химии» Освальда и приучив сына местного аптекаря, моего школьного товарища по начальной школе, таскать из аптеки склянки, колбочки, кислоты и всякого рода химические вещества, организовал в роще своеобразную химическую лабораторию. Все эти стремления и наклонности не могли получить свободного развития. Нужда и тяжёлая борьба за кусок хлеба были уделом сельскохозяйственного батрака. Кормить и воспитывать детей не было никакой возможности. Дети сами должны зарабатывать себе хлеб. Больная, согнувшаяся под тяжким бременем труда мать. Болезненные брат и сестра. Умирает брат, сестра, а потом и мать. Отец горел ненавистью против немецких помещиков и латышских кулаков, в 1905 году принимал участие в движении батраков и примыкал к латвийской социал-демократии. Вся обстановка, в которой я рос, неизбежно должна была поставить передо мною вопросы общественного развития. В августе 1914 года вошёл в состав социал-демократического кружка молодёжи. Первая марксистская книжка, с которой я ознакомился в этот период, была книга латвийского социал-демократа Янсона «Исторический материализм». Впервые имя Ленина я услышал в 1915 году. Оканчивая начальную школу, я стремился к тому, чтобы продолжить учение, но дорога в гимназию и реальное училище была закрыта ввиду отсутствия средств. Оставалась только учительская семинария, куда неохотно шли дети зажиточных родителей и вынуждены были идти дети бедняков. В пятнадцать лет я поступил в учительскую семинарию. Занятия в семинарии давали чрезвычайно мало, но усиленная работа над собой, чтение философской, естественно-научной и марксистской литературы заменили её. Прочитал «АнтиДюринг» Энгельса, «Критику наших критиков» Плеханова, «Социальную революцию» Каутского. Начал, может быть не очень отчётливо, сознавать различие между вульгарным механическим материализмом, которым я увлёкся в период разрыва с религией, и диалектическим материализмом Маркса и Энгельса. В шестнадцать лет в социал-демократическом кружке мы на гектографе издавали журнал, в котором я поместил свои первые статьи и ряд стихотворений, направленных против власти. Летом 1916 года был арестован по подозрению в распространении антивоенных прокламаций [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1806. Л. 193–199].

Вдова Я.Э. Стэна Валерия Львовна, сумевшая не только сохранить бодрость духа после лагерей, но и наказать Митина за плагиат, рассказывала правнучке о Яне: «Когда он был ещё подростком, он уже работал. Пока пас овец, читал Спинозу».

О том же из воспоминаний И.И. Агола о днях юности:

Нигде не могу найти работы. Только весной мне, наконец, удаётся устроиться грузчиком в порту. Когда в порт приходят баржи, нагруженные мукой или солью, я целый день таскаю мешки на согнутой спине, карабкаюсь снизу вверх по узким сходням. Когда барж нет в порту, я в ожидании их обыкновенно лежу на берегу, лицом к небу, с закрытыми глазами, подложив руки под голову, и предаюсь мечтам о лучших днях. Счастливая звезда Максима Горького, Джека Лондона, Августа Бебеля маячит надо мною: она такая желанная и кажется совсем близкой и легко достижимой. Нередко я приношу с собою какую-нибудь книгу и в свободное время усердно занимаюсь под открытым небом. Товарищи в

порту за эти занятия зовут меня философом, а запойный пьяница, бывший студент-филолог, торжественно величает меня Спинозой: «Что ты читаешь, Спиноза?» Днём я работаю в порту, а вечером и ночью гектографирую листовки, веду беседы с рабочими, спорю с бундовцами [Агол, Агол 2011: 155, 161].

Пожалуй, ярче всего типическая ситуация формирования личности и устремлений этих людей показана в воспоминаниях вдовы И.Я. Вайнштейна:

Мой муж в возрасте девяти лет был отдан в услужение в магазин. Он должен был прислуживать в доме в то время, когда не работал в магазине, в остальное время помогать продавцам. Получал он за это жильё в доме хозяина, питание, одежду и целый рубль деньгами за... год службы. Он исполнял всю работу, трудился, не жалея сил, чтобы... вступить в житомирскую библиотеку, куда требовался взнос – один рубль. И вот год прошёл. Хозяин вручил ему заработанный рубль. Получив деньги, он рассчитался с хозяином, в тот же день пришел в библиотеку. И вот радость! Он стал читателем библиотеки, может даже брать книги на дом. Взяв первую партию книг, он ушёл в Коростышев домой. Просидев следующий день в библиотеке, он вечером ушёл вновь в Коростышев. Каждое утро он шел многие километры из Коростышева в Житомир, чтобы провести день в библиотеке, а вечером вновь на голодный желудок шагать домой. В библиотеке он на клочках дешёвой бумаги писал и приносил эти записи домой. Иногда в его отсутствие эти «конспекты» использовали дома для разжигания печи. Питался очень плохо – только утром и вечером, ощущая укоризненные взгляды других членов семьи. Ведь он в их глазах был дармоедом. Скоро он сносил обувь, одежду, полученные от хозяина житомирского магазина, поэтому, если было не очень холодно, ходил босиком. Прошёл год, ещё год. Сносились рубашка, совсем разорвались и превратились в лохмотья брюки. Но он изо дня в день в любую погоду (исключения делал только в очень суровые вьюжные зимние дни – ведь надо было беречь остатки обуви для библиотеки) шел в библиотеку, а потом домой. Но это не страшило его, не делало несчастным, наоборот – он только теперь был по-настоящему счастлив: ведь он открыл мир, и какой мир! Уже в эти годы он читал Аристотеля и Платона, Дидро и Чернышевского, Пушкина и Толстого. А что не было одежды? Он выходил из положения тем, что носил длинное до пят пальто, которое он не снимал и в библиотеке. Сидел в нем у керосиновой лампы, застегнувшись на все пуговицы. В библиотеке привыкли к этому странному нищему и худому подростку, который не приходил сюда только в сильную стужу и брал читать не по возрасту серьёзные книги, которые до того годами пылились на полках. Уже в первый «библиотечный год» он, пользуясь учебниками, самостоятельно изучил латынь, немецкий, начал изучать французский. На второй «библиотечный год» он открыл для себя Маркса, Плеханова, Канта, Гегеля. Когда ему было тринадцать лет, в холодную осеннюю пору, он, находясь в библиотеке, почувствовал себя очень плохо, плохо было все эти последние дни. И он понял, что долго не сможет ходить в библиотеку. Сдал книги и признался библиотекарю, что ходить не сможет, что болеет, и попросил одну из книг домой, обещал сразу же по выздоровлении отнести её обратно. Книгу получил. Добрался с трудом домой, как всегда, шел пешком. Свалился в горячке. Когда немного стало лучше, дочитал книгу, но идти в Житомир не мог. А тут как раз отец должен был ехать в этот город. И тогда отец взял эту книгу, пообещал её сдать и взять ту, которую в записке просил сын, если библиотекарь даст. Когда отец вернулся, книги у него не было. «Почему ты не привёз книгу?» – спросил мальчик. «Потому не привёз – сдал твою книгу и забрал рубль залога. Он, этот рубль, ой как нужен в доме. Ты ведь ничего не зарабатываешь, а ешь!» В ужасе больной ещё мальчик выскочил на улицу и сел, содрогаясь в рыданиях. Вдруг почувствовал, что кто-то взял его за плечо. Это был дальний родственник – продавец здешнего магазина. «Почему ты так плачешь, Изя?» Мальчик рассказал. «Ну что ж, – сказал подошедший родственник, – я книг не читаю, не выучился. Так читай же за меня и возьми мой подарок – этот рубль». Через несколько дней Израиль шагал по дороге в библиотеку. Всё больше и больше привлекали его идеи рево-

люционером. Но такой литературы в библиотеке почти не было. Скоро он установил связь с местными житомирскими революционерами. Получил первые задания. Начал агитацию среди рабочих. Весной 1914 г. как «большевик» – рабочий агитатор (хотя он тогда ещё формально и не был членом партии) он был арестован [Воспоминания об И.Я. Вайнштейне. 2015: 240–244].

Во всех приведённых рассказах путь формирования личности и убеждений, философских интересов однотипен. Были и те, чьи семьи жили более благополучно. Но траектория развития оставалась той же. Отец Б.М. Гессена заведовал Елизаветградским отделением Русского банка. Б.М. Гессен учился в Елизаветградской мужской гимназии. В классической гимназии Б.М. Гессен овладел латинским, немецким, французским и английским языками, причём английским и немецким – свободно. Его близким другом с первого дня учёбы стал И.Е. Тамм. Вместе они год проучились в Эдинбургском университете, где слушали лекции нобелевских лауреатов. Началась война, и Б.М. Гессен не смог продолжить образование в Эдинбурге. Из-за процентных ограничений он не мог быть принят на физико-математический факультет Петроградского университета и поступил на экономическое отделение Петроградского политехникума. В декабре 1917 года Б.М. Гессен вошёл в состав Елизаветградского ревкома и участвовал в национализации того банка, которым заведовал его отец. Потом участвовал в Гражданской войне.

И.К. Луппол родился в семье управляющего Курским отделением Госбанка. В 1914 году он окончил гимназию. Изучил классические языки, свободно овладел французским, английским и немецким языками. Поступил на юридический факультет Московского университета. Но отец вскоре умер. И.К. Лупполу пришлось зарабатывать на жизнь уроками или же брать на дом работу по переписке набело тех или иных документов. И.К. Луппол так вспоминал о своей учёбе в университете:

Я поступил на юридический факультет Московского университета. Факультет, разгромленный Кассо в 1911 г., не блистал преподавателями. Теоретические кафедры были заняты молодыми последышами идеалистической школы Трубецкого и Новгородцева. Я изучал историю философии права и через этот специфический канал впервые знакомился с великими философскими системами древности и нового времени. Это развило интерес к теоретической мысли и её истории. Желание связать историю мысли с жизнью в условиях юридического факультета привело к специальному изучению истории общественных учений, истории русского права и истории государственного права, в особенности английского [Архив РАН. Ф. 394. Оп. 12. Д. 3. Л. 6].

В 1919 году И.К. Луппол окончил с отличием Московский университет. К этому времени он понял, что он «никакой юрист», и вступил в Красную армию в качестве лектора и пропагандиста.

Погружение в водоворот событий революции и войны не притупляло, а обостряло стремление к философскому познанию. Из воспоминаний В.Д. Резника (Днепра):

Может быть оттого, что я провёл детство в угнетающей скукой и бедностью среде, в некрасивом, подобно горьковскому, дворе в Кривом переулке, – я твердо выбрал большевиков. Когда ноги мои окоченевали, я бегом пускался домой. Дома с аппетитом хлебал суп из костей с пшеничной крупой, выбивал мозг из костей, красиво распределяя на куске хлеба, – и мне казалось, что более вкусного кушанья не существует. В 1920 году, ввиду польского наступления, в помещении киевской думы был объявлен набор добровольцев. Хотя я ещё не дожил до семнадцати лет, члены комиссии не усомнились в моей способности воевать. В атаке у самого Днепра я почувствовал, будто ветер пошёл через левую часть моей груди. Тронул рукой, а она мокрая от крови. Мой друг дотащил меня к телеге для тяжело раненых. Я так и не попрощался с ним, надолго потерял сознание. Госпиталь

стал этапом моей жизни не только потому, что я провёл в нем много месяцев. Сначала из-за непрерывной лихорадки не мог ничего есть, кроме кисленького киселя (его каждый день приносил мне, как выразились бы сегодня, комсомольский пост), и ссохся в щепку. Но как только стал оправляться, погрузился в нескончаемое, запойное чтение. Просыпаясь, открывал книгу, а откладывал её, когда глаза слипались. Однажды мои комсомольские снабженцы принесли мне книгу Плеханова «Критика наших критиков». Не могу сказать, с каким наслаждением читал эту книгу. Впервые почувствовал вкус к философии. А изящество и тонкость полемики Плеханова, его убеждённость и способность удивлять читателя восхищали меня. Когда, много позже, я прочитал в воспоминаниях Ленина «Как чуть не потухла "Искра"», что и автор этих воспоминаний был долго влюблён в Плеханова, – это ленинское слово доставило мне особое удовольствие. Так я прочитал все философское из Плеханова, что могли достать мои комсомольцы. Главным, определившим мою жизнь, стало чтение сочинений Ленина, которые читал я без всякого порядка (собрания сочинений ещё не было), перечитывая каждую книгу или статью по много раз. Мне в них открывались не только гигантская его мощь и воля, не только поразительная историческая пронизательность и смелость; я видел личность, единственную в своём роде. Марксизм насквозь всемирный и насквозь русский. Преданность тому, чему учит Ленин, стала основой моего отношения ко всем вещам на свете. К маю 1921 года меня выпустили из госпиталя и отчислили из армии как инвалида второй группы. Но отдых в дачной местности Пуще-Водице под Киевом был недолог. ЦК комсомола Украины, узнав обо мне из рассказов приезжавших из Киева, телеграммой вытребовал меня в Харьков для работы в коллегии политпросвета. Это важный момент. Здесь я узнал передовых людей поколения двадцатых годов – моего поколения – людей, которых можно было бы назвать идейными во всей многозначительности этого слова. Всё это люди, которые по праву должны быть названы положительными героями. Чем больше я общался с ними, тем более убеждался в том, что положительные герои на самом деле существуют. Не идеальные, которых не бывает, а положительные, которые существуют в действительности [Днепров Указ. соч.: 179–181].

Как происходил тот же процесс становления у девушек-философов? Их было очень мало, конечно. Самая яркая из них – О.М. Танхилевич. О её юности рассказала А.Л. Войтовская, которая сидела с ней в лагере:

Мать её умерла рано, оставив мужу пятерых детей. Оля матери не помнила, но нередко в разговорах вспоминала нежно любимую мачеху. Ранее она работала гувернанткой детей, и вскоре после смерти матери отец на ней женился. От неё у Оли совершенное знание немецкого языка. Отец Ольги, строгий умный человек, был простым служащим в торговой фирме, со скромным заработком. О нем слышала от Оли как о человеке-самоучке с прогрессивными идеями, крайне самолюбивом и вспыльчивом. Он выписывал «Русское богатство» и преклонялся перед Михайловским. По натуре общительный, остроумный, любящий отец, но после ранней смерти жены и быстро последовавшей трагической гибели сына не смог оправиться и жил непонятной для детей жизнью. У Оли была, правда, проходная, но отдельная комнатка. Ничего лишнего – кровать, стол, шкаф. Любила кукол и фантастические приключения. Читала запоем и без разбора: сказки и классику, издания «детской библиотеки», Чарскую и «Русское богатство». Училась блестяще все годы, гимназию закончила с золотой медалью. Над уроками не корпела, но работать умела с первых лет учения. Сочиняла стихи и прозу и знала на память несметное количество стихов. Романтизм нашёл полное выражение в страстной отдаче себя революции. Февральская революция всё прежде важное сделала неважным, незначительным. Появилось новое: ходить на демонстрации, митинги, слушать ораторов, верить им или сомневаться, спорить по дороге домой в 12 часов ночи и позднее, не слушаться отца, не спускать весь вечер глаз с кого-нибудь из юношей, а назавтра не помнить, о чем шла речь. Обязательные уроки стали необязательными, а под партией хранится «История культуры» Липперта или

даже вырванная глава из «Капитала» Маркса, которую необходимо срочно дочитать. Вечером мчаться в Коммерческое училище, где заседает «Комитет средних школ», куда Оля избрана делегатом от женской гимназии. Отчёт Оли о деятельности «Комитета» в гимназии, где она училась, был принят в штыки – возмущались учителя и родители. Она посещала «Дом Школьника», где, со слов Оли, произошло её «второе рождение». Здесь происходили дискуссии обо всем на свете: о железных законах истории и о гегемоне революции, о правде и справедливости и о безумстве храбрых, о месте революции в мировом развитии и о всесторонне развитой личности, о прекрасном будущем человечества, о художественном театре, об импрессионизме Шопена и о политическом ренегатстве Вагнера, и о многом, многом другом. С семнадцати лет она серьёзно занялась философией. Вместе с друзьями они читали и конспектировали Канта, Гегеля и других философов, и, как говорила Оля, «сквозь мир ирреальных феноменов неожиданно проступил мир сушущих ноуменов». Как только большевики в 1920 г. укрепились в Ростове, Оля вошла в партию большевиков и работала секретарём у А.И. Муралова. Весной она заболела тифом с тяжёлыми последствиями, болела бурно, едва выжила. Вскоре Ольга переехала в Москву, где поступила в Институт красной профессуры на отделение философии [Войтоловская Указ. соч.: 260–263].

Приведённые свидетельства позволяют объяснить раннее профессиональное созревание философов поколения 1920-х годов. Почти все они были выпускниками философского отделения Института красной профессуры. А.М. Деборин организовал его на следующих началах: учёба в течение трёх лет, включавшая семинары по проработке первоисточников, изучение иностранных языков, заграничная стажировка и выход на публикацию самостоятельного исследования. Рассказывает слушатель философского отделения ИКП Г.И. Григоров:

Меня включили в философский семинар Л.И. Аксельрод. Мы работали над подлинниками классиков философии. После досократиков изучали Платона, Аристотеля, Эпикура, Лукреция Кара, средневековых схоластов и теософию. Затем перешли к изучению английских и французских материалистов, Декарта, Спинозы и всей немецкой школы. У нас не было лекционной системы. Мы сами готовили доклады по тому или другому философу и зачитывали их на семинаре. Вокруг доклада обменивались мнениями, были горячие споры. Заключительное слово принадлежало руководителю семинара, он оценивал степень научности разработанной темы. Я разработал тему «Свобода и необходимость в философской системе Спинозы» [Григоров Указ. соч.: 290].

В первом философском наборе ИКП оказалось созвездие талантов: Я.Э. Стэн, Н.А. Карев, И.К. Луппол, Б.М. Гессен, О.М. Танхилевич, А.К. Столяров, А.Я. Троицкий, М.Л. Ширвиндт, В.А. Юринец, С.Ф. Васильев, Ф.Е. Тележников. Когда О.М. Танхилевич сдавала вступительные экзамены, Л.И. Аксельрод была поражена глубиной её ответов и той свободой, с которой она владела материалом. Со свойственным ей юмором она спросила у Ольги: «Откуда ты, прелестное дитя?» [Войтоловская Указ. соч.: 264]. Во время учёбы в ИКП на философском семинаре Л.И. Аксельрод говорила о ней: «Ведь Оля ещё совсем юная, когда же она успела проработать огромный, сложнейший материал и всё увязать в единую систему» [Григоров Кн. 3: 120].

С И.Я. Вайнштейном на экзамене случилась ещё более любопытная история. Выслушав его ответы, А.М. Деборин сказал: «Товарищи, знания Вайнштейна очень серьёзные, систематические и фундаментальные, в особенности в области марксистской философии. Учиться ему незачем. Он знает не меньше нас – преподавателей. И сам может готовить красных профессоров» [Воспоминания об И.Я. Вайнштейне: 245].

Его оставили в ИКП преподавателем философии.

Показательно впечатление В.Д. Резника, учившегося в те годы на философском отделении ИКП:

Многие молодые люди, способные стать выдающимися деятелями новой культуры, вышли из первых трёх наборов Института красной профессуры. Пустили шутку: пока учился – он будущий красный профессор, а как закончит – делается бывшим красным профессором. Шутка злая, поверхностная и несправедливая. В Великие эпохи внутренний толчок из глубин бытия выносит на его поверхность невыносимое число талантов и даже гениев. Этот исторический закон проявился и в том, что смелый замысел «красной профессуры» оказался удачным. В первых трёх наборах в этом институте – десятки молодых людей, чьи таланты готовы были расцвести на ниве общественной деятельности. А школа Бухарина, где было несколько ярких талантов, а такие выдающиеся философы, как Карев и Стэн. В кругу закончивших Институт было немало людей, чья ранняя деятельность указывала на выдающиеся способности. Я, разумеется, не помню их имён, но помню впечатление, произведённое их исследованиями. Но жизнь этих людей была оборвана в самом начале – все умные и даровитые были расстреляны, и мы можем лишь гадать, что они могли принести науке и жизни. Конечно же, их расцвет был бы не менее значительным, чем расцвет театра или изобразительного искусства двадцатых годов. Сталин перерубил пополам лучших людей поколения, которое могло бы принести выдающиеся результаты [Днепров Указ. соч.: 189].

Чудо первых наборов философского ИКП в дальнейшем не повторилось. Но поколенческий всплеск 1920-х годов был. В первую половину десятилетия его эпицентром был ИКП, а во вторую – Институт философии, куда перешли работать выпускники философского отделения.

* * *

Вторая половина 1920-х годов стала для этих людей порой интеллектуального расцвета. И вместе с тем они совершили жизненные шаги, которые привели их к гибели. Это – второй после периода формирования узловый пункт их жизненного пути, который я попробую истолковать. Какая черта их поколенческого типа во многом привела советских философов 1920-х годов к массовой гибели?

Представьте себе тип талантливого ученика в школе. Не записного отличника, который знает порядки, учитывает характеры учителей и ведёт себя по пути успеха. Но начитанного, способного, развитого, думающего и самостоятельно мыслящего молодого человека. Он не молчит, высказывается, особенно когда видит или слышит неправду, тем более в публичной ситуации, например на собрании. Наличие публики воспринимается как вызов, обращённость к твоему Я, как испытание твоей честности и чести. В такой ситуации он просто не может промолчать, ему надо обязательно вылезти, высказаться, засвидетельствовать собой истину.

Вдова Ю.Р. Закгейма вспоминала об одном молодом талантливом учёном, который посещал философский кружок её мужа. Этот человек не только блестяще знал философию и естествознание, но всегда имел своё мнение по принципиальным мировоззренческим вопросам и отстаивал его, несмотря на идеологические обвинения. Он, например, считал, что теория Дарвина не выдерживает проверки с точки зрения и философии, и естествознания. На допросе следователь спросил её, какого мнения об этом человеке был её муж:

Наивно полагая, что я говорю что-то полезное для него, я ответила: – Муж считал его необыкновенно знающим, талантливым человеком, говорил, что он будет крупным учёным... На это следователь цинично ответил: – Все они умники. Нам таких и надо, дураки нам ни к чему [Адвимова-Слизберг Указ. соч.: 239].

Известный эстетик и философ музыки Д.И. Гачев вполне выражал собой поколение 1920-х годов. Его сын, Г.Д. Гачев, собрал свидетельства об отце. Соученик по гимназии вспоминал: «Оратор! Буйный! Пел, декламировал! Сразу было видно, что этот человек не доживёт до своей старости. Потому что не поступал как положено, не ходил проторёнными путями» [Гачев Воспамятование ...: 165].

Брат Д.И. Гачева говорил ему: «Ты неисправимый идеалист с донкихотскими замашками... Считаешься с действительностью, не будь таким односторонним ницшеанцем. Неужели ты не можешь понять, что искусство и голодный желудок непримиримы и несовместимы?» [Там же: 167].

Не у всех такой человек будет вызывать симпатию. Особенно у тех, кому нечего сказать, или же у тех, кто считает, что думать положено начальству. В 1930-е годы для подобного поведения нашли прелестное определение: «зазнайство». Об этом ярлыке в годы оттепели напомнил Э.Ю. Соловьев в своей социологически точной балладе о Полупортянце и Гершензоне. Добавьте к тому же, что мировоззрение этих «знаек-зазнаек» было марксистским. Как они его выработали, мы уже видели. Оно сплавилось с их личностью. Личности же были таковы, что готовы были заслонить идею своей грудью. Нелишне вспомнить, что в отличие от многих других учений марксизм даёт цельное мировоззрение и позволяет человеку всякий встретившийся факт объяснить исходя из единой системы. В нем философия прямо стыкуется с повседневной жизнью, а осознание какой-либо мысли как марксистской даёт душевные силы придерживаться этой мысли. Люди, самостоятельно пришедшие к способности всё объяснить, отождествляли то, что считали истинным, с сердцевиной своего Я. Внутренний совет с истиной значил для них всё, а указание свыше – ничто. Если указание противоречило истине. В этом смысле то были идейные люди.

О Я.Э. Стэне академик А.М. Деборин написал:

Ян Эрнестович Стэн, состоявший одно время в близких отношениях со Сталиным, к которому был вхож в дом. Стэн работал в Коминтерне, был членом Центральной контрольной комиссии ВКП(б). Стэн был один из самых честных людей, каких мне приходилось встречать. Его искренность и откровенность, абсолютное неумение кривить душой выделяли его среди товарищей. Он не способен был уступить Сталину хотя бы формально в чем-нибудь, раз он не был согласен. Я лично был свидетелем столкновения Стэна со Сталиным. Когда началась «критика» деятельности и теоретических установок так называемого «деборинского философского руководства», и Сталин, не высказавшись ещё открыто, занимал двусмысленную позицию, Стэн бросил ему в глаза обвинение в том, что он, Сталин, «торгует марксизмом». Разговор происходил по телефону. Должен сознаться, что по моему телу пробежал холод. По окончании разговора я набросился на Стэна: «Что ты натворил? Ты знаешь, чем рискуешь?» Стэн только рассмеялся. Он принадлежал к железной когорте большевиков, не зная ни сомнений, ни подхалимства. Он знал Сталина лучше других и не доверял ему, говоря мне: «Ты увидишь, сколько зла он ещё принесёт», присовокупляя слова «впрочем, он окончит свои дни под забором» [Воспоминания академика Деборина 125].

В последнем Я.Э. Стэн, как мы знаем, ошибся.

Крестный путь Я.Э. Стэна начался с его статьи в «Комсомольской правде». В ней говорилось:

Каждый комсомолец должен на своём примере прорабатывать серьёзно все вопросы и таким путём убеждаться в правильности генеральной линии нашей партии. Только такая убеждённость, приобретённая на своём собственном опыте, путём самостоятельного продумывания всех основных вопросов, может иметь вес и ударную силу в практической деятельности. Без этого условия практическая деятельность превращается в «службу», в чиновничье отношение к социалистическому строительству [Стэн 1929, 26 июля].

Правильность линии партии должна быть удостоверена моей убеждённой, приобретённой самостоятельно. Сталин пришел в бешенство, когда прочитал эти слова в газете, и буквально в тот же день отдал приказание разобраться со Стэном. Слова молодого философа попали в цель, потому что специально были написаны как вызов своему одному-единственному читателю. Для того и писались. Сила индивидуального выражения мысли философа была такова, что Сталину и спустя более десяти лет после расстрела Стэна пришлось дать ему слово в собственном собрании «Сочинений». Во время одного сталинского доклада Стэн посмел ему дважды возразить и остался при своей позиции. И стенограмму доклада пришлось воспроизвести в «Сочинениях» такой, какая она была. Стэн десять лет как лежал в общей могиле, имя Стэна помянуть было тогда запрещено, но оно бесстрашно смотрело на всех со страниц самого катехизиса фараона.

Людей философского поколения 1920-х годов отличала почти инстинктивная готовность встать на защиту своего интеллектуального и человеческого достоинства. Во время разгрома «деборинщины» на собрании Ленинградского института красной профессуры философии стали травить специалиста по философским вопросам математики и физики, учёного секретаря Ленинградского отделения Института философии деборинца Ю.П. Шейна. В таких ситуациях кто-то пытался защищаться, кто-то оправдываться, кто-то каяться. После нескольких грубых реплик Ю.П. Шейн встал и вместо выступления демонстративно ушёл с собрания. Он посчитал неуважением к себе давать какие-то объяснения клеветникам. К прежним обвинениям в «меньшевистствующем идеализме» теперь добавилось обвинение в «барском отношении к критике». Когда против Ю.П. Шейна началось партийное следствие, он написал в объяснительной записке:

Против меня велась беспардонная клевета, свистопляска со стороны А.С. Джидарьяна и других. Было выдвинуто обвинение в меньшевистствующем идеализме и, – что в квантовой механике и в математике самые реакционные идеи – принципы неопределённости и ненаблюдаемости. Когда же меня критиковали с таких позиций – я и должен был так поступить – уйти [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1653. Л. 39].

И.Я. Вайнштейн и в сибирском застенке не смирился с подавлением человеческого достоинства сталинским режимом. Повторное обвинение И.Я. Вайнштейна было основано на доносах охранников и некоторых сокамерников. В них говорилось, что в тюрьме среди заключённых он заявлял о невиновности большинства репрессированных, среди которых много рабочих и крестьян – и это в государстве, провозгласившем рабоче-крестьянскую власть, о недовольстве населения сталинской политикой, которая в дальнейшем приведёт к крушению Советского Союза. В справке начальника тюрьмы, на основании которой была осуществлена внесудебная расправа над И.Я. Вайнштейном, говорилось, что он «восхвалял врагов народа, высказывался о падении Верховной власти, нарушал правила тюремного режима и оскорблял надзирательский состав» [Воспоминания об И.Я. Вайнштейне: 236].

Каким нужно было обладать чувством собственного достоинства, какой силой духа, чтобы в таком положении «оскорблять надзирательский состав»! Несломленных пытками практически не было. Но восстановиться, вернуть себе своё Я помогало слияние личностной устремлённости с надличностными идеалами, пропитывание идеалов твоей экзистенцией.

О многих поступках, которые сегодня нельзя назвать иначе, как духовным подвигом, манифестом личного достоинства думающего человека, мы просто не знаем, а если узнаем, то просеивая руду документов – по одной лишь фразе. Горько думать о тех, кто стал безвинной жертвой сталинского режима. Но вдесятеро важнее помнить о тех, кто находил в себе душевные силы бросить обвинение палачам в лицо. Силы эти давало философское мышление. Изучая личные карточки студентов философского факультета МИФЛИ и выясняя их по-

следующие судьбы, я узнал удивительный факт. Выпускник философского факультета МИ-ФЛИ Д.П. Ипполитов стал преподавателем кафедры философии Казанского пединститута. В 1938 году он был отправлен в лагерь, что случилось с ним потом, я не знаю. В обвинительном приговоре его преступление формулировалось так: «...порвал свой партбилет из-за несогласия с политикой партии по индустриализации». Речь идёт не о впечатлительном юноше, а о тридцатилетнем мужчине, бывшем рабочем, который к тому времени почти десять лет состоял в партии, во время учёбы в Москве на самом идеологическом факультете параллельно преподавал в партшколе. Но он научился на философском факультете мыслить и узнал, как философы в прежние эпохи грудью своей заслоняли истину. И когда сам он встал за кафедру и обратился со словом к студентам, то понял, что должен нести им лишь выработанную мышлением истину. Потому что философия не только оболванивала, но и просветляла, у неё была собственная жизненная логика, будившая в человеке совесть. Наступал момент, когда философ говорил себе: нет, я больше так не могу – и шел на тот костёр, который приготовил ему его век.

Отличительную черту поколения можно назвать публичной акцентуацией личной философской позиции в качестве интеллектуального и нравственного убеждения. В обыденной жизни она чаще всего опознаётся посторонними как наивность. Но ведь таким и должен быть философ – человек не от мира сего, говорящий истину подобно младенцу из сказки Андерсена – с незамутнённой душой. Человеческая черта, о которой мы говорим, особенно драматично проявилась в inferнальной реальности сталинского застенка.

Философ в какой-то момент переставал воспринимать античеловеческую реальность именно в силу её античеловечности, он отрицал её так же, как душевнобольной отрицает травмирующее его событие. Но в этом сказывалась не иллюзорность мышления философа, а неподлинность самой реальности, её несовместимость с разумом и гуманностью.

Во время пятнадцатиминутной пародии на суд, когда И.И. Агола приговаривали к расстрелу и спросили, есть ли ему что добавить, он попросил внести исправление в обвинительное заключение. В нем указано, что подсудимый работал в Институте зообиологии [Агол, Агол Указ. соч.: 177]. Вот так написали грамотеи из органов. Но это бессмысленное соединение слов. Он работал в Институте зообиологии. В этой мелочи – вся суть поколения, о котором я пишу. Человека через пару часов расстреляют. Он это прекрасно знает. Палачам всё равно, что в бумажки записывать. Но у учёного срабатывает рефлекс истины. Поколенческий типаж проявляется на уровне социокультурного «инстинкта». Другой бы на его месте заметил очередную нелепость и промолчал. Как будто можно было ожидать от палачей понимания и культуры. Но специфика этого поколения проявляется в том, что человек даже на таком вот «собрании» не смог не встать и не поправить безграмотных судей и прокуроров. Без какой-либо практической цели, ничего иного не имея в виду. Такого человека можно забить до состояния, когда он подпишет фантастические признания. Но из него никогда не сделаешь добровольного слугу режима.

Насколько философ мог существовать параллельно миру сталинской диктатуры, говорит случай с профессором В.К. Серёжниковым. В застенке он беспокоился о судьбе сданных в печать работ. Он наивно полагал, что они могли выйти в свет после его ареста, надеялся через это материально поддержать семью и в письмах просил своих родных навести справки, получить гонорары и даже потребовать авторские экземпляры. Он не допускал мысли, что за ним уже не признают никаких гражданских прав, что его невышедшие тексты просто выбросят, а само имя предадут забвению. В этой трогательной наивности в действительности проявляется подлинное величие духа.

Поколение философов 1920-х годов на интуитивном уровне осознавало расхождение марксистских идей и сталинской действительности. Но выйти за пределы своего времени,

посмотреть на него со стороны невероятно трудно, особенно тем, кто сам боролся за это новое общество и участвовал в его строительстве. Лишь немногие поняли, что построено вовсе не то, что предполагалось. Среди них нужно назвать имя И.П. Роцена. Он много лет заведовал в МГУ кафедрой истории и философии науки. И.П. Роцен успел в своей жизни послужить в царской армии, в латышских стрелках, в разведке, в ВЧК, в ЦК ВКП(б). Окончив МГУ, он год стажировался в Германии по истории и философии химии и стал её глубоким знатоком. Со своим жизненным опытом он сумел распознать за красными транспарантами античеловеческую диктатуру. Кафедра И.П. Роцена отличалась не только уникальным опытом постановки курсов по истории и философии наук (астрономии, математики, физики, химии, биологии). Он сознательно собирал на кафедре первоклассных философов, изгнанных из других научно-учебных учреждений за «деборинщину» (Б.М. Гессен, М.Л. Левин, А.О. Апирын), и создавал им спокойные условия для работы. Он ходил по инстанциям, добивался снятия с них идеологических обвинений. Неслучайно в итоге почти весь состав кафедры был репрессирован и погиб вместе со своим заведующим. И.П. Роцена взяли «в разработку» и стали фиксировать его разговоры. Он говорил коллегам:

Сталин хочет расправиться со своими политическими противниками. Проводимая сейчас партией политика озлобляет людей в силу её несправедливости и жестокости. Политика Сталина и партии в области науки и культуры идёт вразрез с действительно необходимыми мероприятиями в этой части и вызвана тем, что вопросами науки и культуры в ЦК ВКП(б) занимаются люди, в значительной степени далёкие от понимания и способности разрешить те или иные вопросы научной и культурной политики. Невозможно применить стахановское движение к науке, а само стахановское движение это погоня за рублём и выжимание пота из рабочих. В отношении Сталина к науке много показного, и в этом вопросе решающим являются личные вкусы Сталина. На словах признаётся необходимость разработки теоретических вопросов, а на деле этому не придаётся никакого значения, и от самого Сталина исходят директивы практицизма в противовес необходимости разработки теоретических вопросов [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 2643. Л. 1–2].

Г.И. Григоров учился в 1920-е годы на философском отделении ИКП и на факультете общественных наук МГУ. В мемуарах он попытался осмыслить феномен своего поколения:

В годы перед Февральской революцией 1917 года все мы были захвачены бурным водоворотом событий. Нам было тогда по пятнадцать – восемнадцать лет, все были увлечены работой в подполье, ощущали, что скоро рухнет режим царского самодержавия. После Гражданской войны наше поколение успело немного подышать воздухом свободы. Мы голодали, страдали от холода в университетских аудиториях, студенческих общежитиях и библиотеках, но яростно учились. Нас интересовало всё, мы жарко спорили на самые различные темы и верили в торжество разума и справедливости. Эта эйфория продолжалась недолго. Пройдя сталинские тюрьмы и концлагеря, я задумался над вопросом: если бы наше поколение знало об уготованной ему судьбе, когда одни должны будут погибнуть, другие будут обречены на адские муки, то повело бы оно себя как-то иначе, отказалось бы от борьбы с царским самодержавием? Ответ у меня один – нет, мы продолжили бы борьбу, мы боролись за свободу человека и глубоко верили, что в этой борьбе, в конце концов, обретём её. Я вспоминаю своих друзей, товарищей, рабочую и учащуюся молодёжь, окружавшую меня в 1915–1917 годы. Моё поколение, родившееся на рубеже XIX и XX веков, жило идеалами XIX века, аккумулировало многое из того, чем жил XIX век, что в конечном итоге породило ту революционную энергию, которая выплеснулась взрывом в феврале 1917 года. Во всей истории России не было и, вероятно, больше не будет такого периода расцвета, как не будет и такого поколения революционных романтиков, выросших на идеалах XIX века. Это была особая когорта людей энергичных, мужествен-

ных, целеустремлённых, самоотверженных, политически грамотных и духовно сильных [Григоров. Указ. соч., кн. 3: 89–92.

К сходным выводам о своём поколении пришел В.Д. Резник:

Поколение двадцатых годов шаг за шагом отходило от поддержки Сталина, и отходило тем дальше, чем большую личную власть приобретал Сталин. Впитанные в плоть и кровь с молодых лет демократические традиции ленинской поры не мирились с державной властью одного лица. Это справедливо не только относительно нашего кружка, не только относительно бухаринской «школки», не только Карева и ему подобных, но и любого человека, способного к независимому мышлению. Можно с уверенностью сказать: политически мыслящая часть поколения 1920-х годов всё дальше шла по пути противопоставления себя Сталину, – хотя и с отдельными срывами и колебаниями. Принципиально то же происходило в среде учёных, вошедших в науку в 1920-х годах, – здесь решающее значение имело варварское отношение Сталина к современной науке и ужас «лысенковщины». Это предreshало судьбу поколения 1920-х годов – его можно назвать погубленным поколением. Какая скорбь и боль охватывает, когда думаешь о громадных духовных, интеллектуальных и нравственных ценностях, которые погибли вместе с ним. Не побоюсь сказать: поколение 1920-х годов, родившееся в Октябре, было в лучшей своей части поколением положительных героев. Всё же меня тревожит мысль, не подумает ли читатель, что я идеализирую поколение, вышедшее из Октябрьской революции. Я прекрасно знаю, сколько всякой скверны было даже и в передовом слое моего поколения. Достоевский, взглянув в него, без труда нашёл бы множество подтверждений амбивалентности в их нравственной природе. И множество склок, и проявления мелочного честолюбия, и зависть к чужому таланту, недобрые ссоры, вытекающие из недоверия друг другу, – и эти и другие моральные пороки мы в изобилии найдём даже и в передовом слое поколения. Пожалуй, только сребролюбия не было или почти не было. Но была черта, которая перекрыла все эти проявления нравственной недостаточности и которая – особенно в критических ситуациях – определила лицо поколения. То, что Ленин называет энтузиазмом великой революции, охватывает всю душу целиком. Идея становится над раздробленностью и недостатками личности. Мысль о главенстве идеи над характером была у Толстого. Утверждение этой мысли руководит построением всего образа Пьера Безухова. Но в цветущий период революции это главенство идеи над характером становится явлением массовым [Днепров Указ. соч.: 198–199].

В наши дни образ «советских философов» конструируется в масскультурном сознании авторами, кого по терминологии настоящей книги нужно отнести к «семидесятникам» и которые по-прежнему задают тон в философской жизни страны. Их интеллектуальная органика формировалась так, что они привыкли думать одно, писать другое, а делать третье. С семидесятых годов сменилось несколько исторических эпох, но приёмы мысли и поведения никуда не денешь, они сидят в «нейронах». Пытаться с подобной системой мировоззренческих координат судить о советских философах двадцатых годов бесперспективно. Они не будут поняты. Поэтому тексты и выступления, трактующие сейчас о советской философии 1920-х годов, скорее подпадают под гегелевское определение прагматической рефлексии, когда автор стремится использовать описываемые явления и факты истории для каких-то выводов или поучений своих современников, но не на философскую историю философии.

Попытка аутентичного истолкования поведения поколения философов 1920-х годов требует отделять убеждённость как от фанатизма, так и от чиновничьей нетерпимости к квалифицированному свыше инакомыслию. В этом ключ к пониманию парадокса: как это в социалистическом государстве целая генерация философов была уничтожена за высказывание марксистских взглядов.

* * *

Гибель поколения философов – это и «семейная история», разлом времени, уход в небытие срезанного пласта культуры и её носителей. В воспоминаниях жён и детей погибших философов запечатлён резкий контраст между жизнью «до» и «после», истории повседневной жизни семей философов и гибели этой жизни.

Аресты философов по идеологическим обвинениям влекли за собой аресты их жён, часть из которых также была расстреляна, беспризорность детей. Семьи репрессированных «уплотняли», но чаще – выселяли из квартир. Гибли библиотеки. В тонком культурном слое зияли новые пробоины. Прочувствовать культурно-психологический шок от внезапной трансформации всей жизненной среды можно по воспоминаниям детей репрессированных, для которых контраст между счастливым и благополучным детством и бесправной и нищей юностью был особенно резок. Некоторые из детей репрессированных философов ещё живы сегодня. Они в преклонных годах. Но боль их не утихает. Островки боли тлеют в московских квартирах, и мне приходилось их заставлять во всей остроте.

Профессор Г.Г. Шпет не принадлежал к философам поколения 1920-х годов, но работал и погиб он вместе с ними. О жизни семьи до и после ареста отца вспоминала дочь Г.Г. Шпета Т.Г. Максимова:

Папа в основном сидел в кабинете и занимался. В это время входить туда было нельзя, трогать что-то в кабинете без спроса тоже запрещалось, и шуметь было строго запрещено, чтобы не мешать папе работать. У папы была грандиозная библиотека, располагавшаяся в его просторном кабинете в Брюсовом переулке. С папой мы стали больше общаться, когда я выросла, когда пошли вопросы и разговоры уже посерьёзнее. Или когда, например, читала книжку и чего-то не могла понять. Тогда я приходила к папе и спрашивала, что это значит. А он обычно подходил к шкафу и вынимал какую-то другую книжку со словами: «На вот, прочитай ещё это, и потом мы с тобой поговорим». Он всё время работал. Сидел в своём кабинете с переводами, с книгами. Папа много занимался до поздней ночи, поэтому вставал поздно, мы к тому времени обычно уже уходили. Пил кофе и отправлялся в свою Академию. Но он никогда не позволял себе выйти к завтраку в халате, в небритом виде, даже если за столом были только свои. Я помню его всегда подтянутым, чисто выбритым, в крахмальном воротничке. Этот белоснежный крахмальник был всегда, в любой сезон. Лето, жара – и всё равно папа в белом воротничке, прямом и жёстком. Очень удачно, что, когда мы переехали в Брюсов переулок, там рядом оказалась китайская прачечная, где прекрасно умели стирать и крахмалить эти воротнички, дома так не получалось. Ходить в китайскую прачечную было моей обязанностью, и благодаря этому я даже выучила некоторые китайские слова. В семье относились к папиной работе с большим уважением, с большим почтением, которое внушала нам мама, на этом мы воспитывались. «Папа занимается, папа пишет» – в это время его беспокоить никому было нельзя, и мы в детской старались играть тихо, не шуметь. А сам папа очень серьёзно относился не только к своей работе, но и к семье, и к дружбе. Папа любил вместе со мной куда-нибудь сходить, взять меня с собой: например, в театр, в гости к В.Э. Мейерхольду, к К.С. Станиславскому, к А.Я. Таирову. Не обязательно на целый вечер, а просто так зайти, навестить, на пару часов. Папа абсолютно не умел отдыхать! Он сразу начинал скучать, и это была проблема всей нашей семьи. Нас, детей, каждый год вывозили на дачу, мы ездили в самые разные места, снимали дачу под Москвой, снимали и где-то подальше. А папа ездить отдыхать с нами не соглашался, он только приезжал нас навещать на один-два дня, и если он оставался на три, то это уже было чудо, такое бывало не больше чем один раз за всё лето, и то не каждый год. И ещё папа писал нам письма, к сожалению, они после его ареста пропали. Он писал нам совершенно изумительные письма, некоторые прямо как сказки. Чувство юмора у него было исключительное, высмеивать он умел всех и вся. Особенно глупость. А с умными людьми всё было наоборот. Вот такой пример. Мы как раз были на даче, приехал и папа, и все вместе пошли погу-

лять. Не знаю, как он вообще согласился «погулять» – «идти просто так по дороге без дела?» – такого он совершенно не переносил, как пустую трату времени. Ну, тем не менее, мы идём, и нам встретилась простая баба деревенская, в платочке и с коромыслом на плечах, которая ходила за водой. Уже не помню, как получилось, но мы на что-то отвлеклись, а потом смотрим, папы рядом нет, озираемся – а он стоит и разговаривает о чем-то с той бабой. Вернулся к нам весь сияющий, и восклицает: «Приятно поговорить с умным человеком!» Для него ум – это была совсем не только образованность, а что-то большее, более глубокое [Первый директор Института научной философии Г.Г. Шпет 2010: 141–143, 145].

Об аресте Г.Г. Шпета Т.Г. Максимова рассказала:

Явились, как всегда, ночью, примерно во втором часу. Всех разбудили, начали копаться в квартире, копались везде и всюду. Папина колоссальная библиотека их очень смутила, потому что все книги проверить было невозможно. Какие-то книги они снимали, какие-то листали, что-то делали у папы в кабинете, что там происходило – я не знаю, мы туда в это время не входили. А потом они пошли по квартире. Пришли ко мне в комнату, начали рыться, а у меня был небольшой письменный столик, там лежали мои личные бумаги, письма с объяснениями в любви и дневник. Я вела дневник и записывала туда почти всё. Эти НКВДшники нашли дневник, стали его читать и смеяться над моими девичьими вздохами и переживаниями. Я была в совершенном ужасе... Потом они ушли и папу увели. А я после этого порвала дневник, порвала все письма. Сначала он какое-то время сидел на Лубянке. Несколько раз звонил следователь, задавал маме разные вопросы. Потом надо было отнести туда какие-то справки, бумажки, послали меня. Ощущение ужасное. Я помню, как поднималась по лестнице здания на Лубянской площади, входила в кабинет следователя. Кстати, это был молодой, приличный и любезный человек, как ни странно. Потом через некоторое время нам позвонили и сообщили, что папа приговорён к ссылке и что он будет отправлен такого-то числа с такого-то вокзала. Нам разрешили прийти его проводить. Конечно, вся семья поехала провожать папу, в том числе дочери от первого брака, Нора и Маргарита. А на соседней платформе стоял и наблюдал за нами тот самый следователь из НКВД. Это и был последний раз, когда я видела папу. В ссылке первое время он прожил в Енисейске, потом ему выхлопотали перевод в Томск – более крупный, университетский город. Мама туда ездила к нему, другие дети ездили тоже. Я, к сожалению, не смогла поехать, потому что не было возможности, просто элементарно не хватало денег на билет. Жизнь была непростая. Я тогда работала в Румянцевском музее, получала очень мало, мама пошла преподавать французский язык, подрабатывала ещё машинописью. Когда-то она освоила печатную машинку вовсе не для заработка, а специально, чтобы готовить рукописи папиных книг, которые все без исключения она перепечатывала, потому что другие люди с трудом разбирались в папином почерке. Кто мог тогда представить, что эти навыки понадобятся совсем для другого... [Там же: 146].

Перелом в жизни семьи запечатлела в воспоминаниях дочь В.К. Серёжникова. В.К. Серёжников был деканом факультета общественных наук МГУ, когда при факультете создавался Институт научной философии, а затем заведовал кафедрой истории философии философского факультета МИФЛИ. О жизни московской профессорской семьи до ареста вспоминает дочь В.К. Серёжникова:

Отец был большим любителем после обеда (обедали часов в шесть) пойти на прогулку в Петровский парк, находящийся на современном Ленинградском шоссе, и всегда брал меня с собой. Мы проходили через триумфальные ворота – огромные и грандиозные: они возвышались в конце Тверской-Ямской улицы. Во время нашего гуляния отец часто останавливался, глядел на небосвод и рассказывал много интересного о звёздах. Обычно доходили мы до ипподрома, на котором происходили конные бега и скачки, и возвра-

щались домой к ужину. По-семейному садились за большой обеденный стол с кипящим самоваром. Собиралась вся семья, и начиналось вечернее чаепитие с вкуснейшими пирожками. После ужина каждый занимался своим делом: кто-то шил, кто-то читал вслух интересную книгу. Я любила вышивать. В десять часов дети шли спать. Отец уходил в свой кабинет на отдых, а ночью вставал работать. С головой погружался в свои книги и любимую философию. В кабинете отца стояли большой письменный стол с зелёным сукном и старинное кресло. На столе: лампа с зелёным абажуром, письменный прибор бювар, много карандашей, ручек, набор ножей для разрезания журналов и книг, три бронзовые статуэтки (Шиллер, Шекспир, Гёте), в рамке портрет Ламетри, этажерка, полная словарей, несколько специальных ящиков с каталогом библиотеки, которая насчитывала около 15 000 томов по философии, истории, русскому языку, иностранным языкам и другим отраслям знаний. Часто отец писал стоя за конторкой. Для спанья – широкий диван, на стене висела карта мира. Несколько раз были с отцом в Большом театре на балетах: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». В Художественном театре с отцом смотрели спектакль «Синяя птица». Меня учили музыке, шитью и вышиванию. Подготовкой к школе со мною занимался сам отец. Я поступила в образцовую школу № 25 Свердловского района г. Москвы, созданную специально для «кремлёвских детей» и детей вышестоящих партийных работников. Светлана Сталина, Лев Булганин были моими ровесниками, Серго Берия Воля Маленкова – на один год старше, Светлана Молотова – на три года моложе, одна внучка Горького была моей ровесницей, другая – на один год моложе и т. п. Только Василий Сталин был старше лет на пять. В те счастливые годы, казалось, ничего ещё не предвещало будущих трагедий. Отец был окружен братьями, сёстрами и детьми. По праздникам собиралось много гостей. Взрослые беседовали, веселились, танцевали, пели, читали стихи. Обыкновенно в дом приходило много народа. Часто бывал Николай Иванович Бухарин. Я помню его летом в сандалиях, в толстовке, в холщевых летних брюках. Он играл с детьми, сестру отца учил кататься на велосипеде. С ним всегда всем было весело. Частым посетителем был В.Н. Сарабьянов. Мой отец готовил его когда-то в Астраханскую гимназию. Они были неразлучными друзьями вплоть до ареста отца. В 1920–1930-е годы отец много работал с молодёжью. Как лектор пользовался у слушателей заслуженным глубоким уважением. Помню отца со строгим выражением лица, с задумчивыми глазами. Зимой в школьные каникулы мы выезжали на дачу. Отца это очень радовало. Он любил в тиши от городского шума писать свои труды. Но, увы, в 1938 году отца арестовали, и моё счастливое детство закончилось. Благополучию нашей семьи пришел конец [Сережникова 2015: 160–161].

В.К. Серёжников был арестован после клеветнической статьи декана факультета А.П. Гагарина, приговорён к тюремному заключению и умер в лагере. Немыслимость, невозможность произошедшего угнетала его. Ему удалось переслать семье несколько писем. О своём аресте он писал: «Я и до сего времени не могу вспомнить о нем и вызывать все подробности этого злосчастного дня 27 апреля, и боюсь. Боюсь, потому что разрываюсь. Избегаю вспоминать, несмотря на то, что протекло уже пять с половиной лет, долгих и страдальческих лет» [Корсаков 2015: 153].

О жизни семьи А.Р. Медведева, работавшего в Ленинградском отделении Института философии и в Военно-политической академии, вспоминает Р.А. Медведев:

Отец очень любил нас, своих сыновей-близнецов. Мы отвечали отцу такой же сильной любовью. Никого и никогда я не любил больше, чем отца, и никто не оказал на мою жизнь и взгляды большее влияние, хотя я видел его в последний раз, когда нам с братом не было и тринадцати лет. Это была не просто любовь детей к родителям. Многие говорили мне позже, что наш отец был человеком очень умным и обаятельным, эрудитом, остроумным собеседником и превосходным оратором. Кроме того, он был комиссаром Красной Армии, а это очень много значило тогда, в начале 30-х годов, – видеть своего

отца в военной форме с тремя шпалами или ромбом в петлицах. Когда он вечером приходил домой и садился на железную «походную» кровать, стоявшую в его полном книг кабинете, мы с радостью бросались к нему, чтобы не только рассказать что-то о своих школьных делах, но и стянуть с него командирские, тонкой выделки сапоги. Известно, что пионеры 30-х годов (а в пионеры попадали тогда далеко не все школьники младших классов) воспитывались главным образом на примерах и образах революции и особенно Гражданской войны. Мой отец был именно таким комиссаром 20-х годов, и у меня были все основания не только любить его, но и гордиться им. Отец был очень занятым человеком. Он был «красным профессором», преподавателем и заместителем заведующего на кафедре диалектического и исторического материализма в Военно-политической академии, читал лекции в Ленинградском университете. Помню и нечастые прогулки с отцом в пригородных парках, катание на велосипедах. Почти каждую неделю отец бывал в букинистических магазинах. У него была очень большая библиотека – не менее четырёх-пяти тысяч книг, и я любил просматривать их, читал отдельные страницы, статьи в энциклопедиях [Медведев, Медведев Указ. соч.: 5].

Арест делил жизнь красной чертой на «до» и «после», на бытие и небытие. Слово Ж.А. Медведеву:

Прошло тридцать пять лет после той летней ночи, когда сон нашей семьи был нарушен сильным стуком в дверь, а я могу вспомнить все подробности. Проснувшись от стука, необычно громкого и настойчивого, я услышал как-то очень странно прозвучавший в передней голос отца: «Что же вы так поздно, товарищи?» Затем послышался звук захлопнувшейся двери, чужие голоса. Гости прошли в кабинет, и я снова уснул. Когда я проснулся, было уже светло, но очень рано. За стеной слышались разговоры, звуки передвижаемой мебели. Закончив обыск в кабинете, группа из НКВД должна была обыскать и детскую комнату. Перевертывали наши подушки, матрасики, поднимали половики, копались в игрушках. Вдруг в дверях детской появился отец. На нем была гимнастёрка, но почему-то без пояса и без столь привычного ромба в петлицах. Рой тоже проснулся и, испуганный, сидел в кровати. Неожиданно отец подошёл к нашим кроватям, обнял нас обоих вместе двумя руками, прижал к колючему небритому лицу и, не говоря ни слова, вдруг заплакал. Это было так страшно, что мы тоже заплакали, а мать, вошедшая в комнату, громко зарыдала. Недалеко от двери я увидел военного с петлицами НКВД. Всё мгновенно стало понятно. Отец поцеловал каждого из нас и вышел. Через несколько секунд в передней снова хлопнула входная дверь. Мы долго сидели, не зная, что делать. Мама плакала. Затем она достала из буфета бутылку вина, налила полный стакан и выпила. Потом опять долго сидела, молчала, не замечая ничего. Очнувшись минут через тридцать, она заговорила срывающимся голосом: «Ваш отец ни в чем не виновен... это ошибка... Это Чагин и Пручанский оклеветали его... и Васюков вместе с ними... Его должны отпустить, он скоро вернётся... Мы сейчас сразу пойдём в ЦК...» Я помню, что этим же утром мама, с горящими от отчаяния глазами, взяла нас за руки и почти побежала к автобусной остановке, чтобы ехать в центр города. Вскоре мы оказались у ворот Кремля, возле Спасской башни. Охрана нас, конечно, никуда непустила. Спустя месяц к нам в квартиру опять пришла группа людей вместе с военным в форме НКВД. Они сняли печать с кабинета отца и провели тщательный обыск, затем увезли все рукописи, тетради, записные книжки, картотеку, переписку – всё, что было когда-либо написано отцом. Заодно взяли именные золотые часы, подарок наркома обороны, облигации государственных займов и ряд ценных вещей, хранившихся в столе у отца. Так прошло несколько месяцев. Все мы находились в напряжённом ожидании, вздрагивая при каждом стуке в дверь, при каждом звонке телефона. Мне тогда и много лет потом снился один и тот же сон о возвращении отца домой. Однажды зимой, вернувшись из школы, по заплаканному, искажённому горем лицу матери я понял, что случилось что-то страшное. Я бросился к ней, стал расспрашивать. Она плача рассказала, что был закрытый суд, что папу приговорили

к восьми годам заключения. При этом она громко ругала всех: Ежова, прокурора, НКВД, судей и неизвестных мне Чагина, Пручанского и Васюкова, которые, по её словам, подали на отца клеветническое заявление, а ещё раньше – на его друга Тымянского и на кого-то ещё. Примерно через неделю мама нашла в почтовом ящике извещение от жилотдела Академии. Согласно распоряжению жилотдела, наша семья должна была в течение двух дней освободить ведомственную квартиру. Но уезжать нам было некуда, никакой другой квартиры или комнаты нам не предлагали. Через три дня рано утром в дверь снова громко постучали. На лестнице стояли управдом, дворник и милиционер. У них были виноватые, но решительные выражения лиц. Дворник с каким-то помощником и милиционер вошли в квартиру и стали выносить вещи во двор, складывая их прямо на снег. Мы не пытались им помочь. Но когда очередь дошла до книг, до прекрасной библиотеки отца, мать встала и начала всё делать сама. Она заворачивала пачки книг в простыни, завязывала верёвками и бережно носила вниз. Возле кучи вещей на снегу собралась небольшая группа любопытных. Все нас знали – дом был академический, а отец работал в Академии больше десяти лет, – но никто не предлагал помощи. После суда мама получила право на короткое свидание с отцом, но об этом свидании она никогда нам не рассказывала. Она не могла не увидеть следов жестоких пыток, которым подвергали отца и которые всё же не заставили его признать себя виновным. Отец разрешил маме продавать все книги из своей библиотеки, кроме книг по философии, истории, политэкономии. Эти книги, однако, пропали позднее по разным причинам в перипетиях войны и эвакуации, и только две книги из отцовской библиотеки сохранились ныне на моих книжных полках. От отца приходили не только письма, но иногда и подробные заявления, пересылаемые, очевидно, через «вольных». В этих заявлениях, адресованных в ЦК ВКП(б), в Прокуратуру СССР, в Верховный суд СССР, новому наркому внутренних дел Л.П. Берии, отец подробно доказывал необоснованность обвинений, описывал издевательства, которым подвергался, приводил имена следователей, применявших пытки. Я помню почему-то лишь одно из этих истязаний – сидение на торчащей из земли палке, упирающейся в копчик. Отец писал, что он, несмотря ни на что, отказался подписать фальшивые признания. В заявлениях отца указывались и имена тех, кто подал на него и на многих других сотрудников Академии клеветнические доносы. Но на все заявления приходил обычно один и тот же ответ: «В пересмотре дела отказано» [Там же: 4–5].

В ходе нашей работы удалось разыскать правнука сотрудника Института философии Ю.Ф. Геккера, который сохранил воспоминания двоюродной бабушки, одной из дочерей этого социолога и религиоведа. Ю.Ф. Геккер происходил из голландской семьи, поселившейся в России во времена Петра Первого. Приверженец методистской церкви, он уехал в США, где окончил Колумбийский университет и опубликовал книгу по истории русской социологии, которую до сих пор используют студенты на Западе. В 1921 году по приглашению А.В. Луначарского он вернулся в Россию. Путь для поколения философов 1920-х годов нечастый, но его нельзя назвать нетипичным. Возвращение из эмиграции в Советскую Россию было одним из ручейков формирования того поколения. Из США, например, вернулся Д.Ю. Квитко, ставший профессором кафедры истории философии философского факультета МИФЛИ-МГУ и написавший книгу о философии Толстого. Ю.Ф. Геккера отличало сильное религиозное чувство, слитое для него с верой в будущее справедливое устройство общества. В неопубликованных пока воспоминаниях дочери прекрасно показаны мотивы поведения учёного:

Отец глубоко верил в стройные социальные теории для будущего общества, и он хотел, ещё при своей жизни, создать «Царство Божие на Земле», и никакая «Голгофа» не отпугивала его. Для Юлия Федоровича учение Иисуса Христа с идеей социализма были идентичны. Желание быть последователем Христа руководило его деятельностью, и в сочетании с его сильным характером идеи его становились столь убедительными, что он нико-

му не казался смешным. Отца притягивало любое общество, борющееся за «правое дело», и он включался и вёл огромную общественную работу. Будучи прекрасным оратором, он собирал большие аудитории. Он говорил, что установление новой социальной системы на Земле должно стать делом каждого, а для этого надо быть готовым идти на жертвы. На этой работе он сложился как личность, и в это время окончательно сформировалось его мировоззрение. Ему шел тридцатый год. Есть старая истина о том, что жизнь двигают люди, верящие в идею, хотя правыми всегда оказываются скептики; так и наивная вера отца в то, что можно за одну жизнь перестроить общество, напоминает идеалистов из истории прошлого, – не только философов, но и исследователей. Невольно вспоминаю я, как мы с папой стоим на небольшой возвышенности, и он показывает мне реку Гудзон, и рассказывает о мореплавателе Гудзоне, который открыл её; и как голландцы вторично отправили его к берегам Канады – найти морской путь в Китай. Гудзон верил, что вот, – на горизонте откроется Китай. О бесконечности Тихого океана географы тогда ещё не знали. Но наступил декабрь месяц, команда восстала: они высадили своего капитана вместе с его семилетним сыном в открытую лодку и оставили там на погибель...

В воспоминаниях дочери Ю.Ф. Геккера юношескими глазами передан перелом жизни семьи московского философа на до ареста и после:

Мы жили тогда на Староконюшенном переулке в Москве. У папы был большой кабинет, где он работал. В доме часто обедали за нашим семейным столом разные люди: иногда знакомые, как наш учитель скрипки и другие, а также и незнакомые. За столом всегда велся оживленный разговор. Часто подолгу горячо говорил папа, и его слушали, а часто и дискутировали. Понять я могла лишь некоторые слова, имена и фамилии. Некоторых наши называли «это толстовец» – и я действительно помню белые толстовки. Часто папа что-то рассказывал, и все смеялись. Папа же иногда смеялся до слез. Я это хорошо помню, т. к. на это обращала внимание. Лучше всего запомнились праздники, особенно Рождество, к которому родители долго готовились. Мама уединялась в своей комнате и готовила на всех пятерых детей подарки. Вечером накануне сочельника папа притаскивал большую ёлку, краешек которой можно было случайно увидеть. Создавалось особенное настроение: чувство приближения чего-то великого, особо торжественного и значимого; а в день сочельника волнение, ожидание и даже трепет охватывали нас в тот момент, когда всех пятерых папа выстраивал перед входом в гостиную, откуда пахло ёлкой и зажжёнными свечами, а мама уже сидела за роялем. После традиционных хоралов папа при свете ёлочных свечей читал Евангелие от Матфея, где рассказывается о рождении Христа, а затем мы пели рождественские песни, после чего рассматривали подарки. Хорошо запомнились и воскресные прогулки, когда всех пятерых сажали на большие сани, и в них впрягался наш белый сеттер Джим. Джим тянул со всей мочи, а папа бежал рядом с санями по Пречистенскому бульвару до храма Христа Спасителя. А там мы катались на санях по лестницам храма – вниз к замёрзшей Москве-реке.

Папа хотел перевести на русский язык некоторые труды западных философов и частично напечатать их в научном журнале или, по крайней мере, прочесть о них доклады, чтобы советские философы были в курсе, как развивается мышление на Западе, и увидели, в какую сторону «вибрирует» магнитная стрелка философского «компас». М.Б. Митин, один из руководителей Института философии, разрешил Юлию Федоровичу рецензировать иностранные книги, но предупредил, чтобы никаких своих мыслей Юлий Федорович не добавлял, а выводы делал бы только цитатами из марксизма-ленинизма, и повторил «только цитатами, только цитатами». Следовательно, опять перед отцом встала дилемма. Когда папа ложился спать, он долго не засыпал и тяжело вздыхал. Из его комнаты вздохи были слышны такие болезненные, что казалось, что это стоны. Однажды отец рассказал, что он приехал в Институт философии, чтобы получить книги, которые надо было рецензировать, и что их долго искали. Наконец, парторг сказал, что книги заперты в парткабинете и на руки не выдаются. «Как же я буду докладывать Митину и другим об этих книгах, если

я их даже не читал?» – спросил Юлий Федорович. «А их и не нужно читать, – ответил парторг, – напишите в Ваших рецензиях, что они плохие». А затем ехидно взглянул на отца и добавил: «Печатать Вас всё равно не будут, бумаги нет».

У папы был свой режим. Утром после топки печей он работал в своём кабинете. После обеда – отдыхал, затем занимался хозяйством: колол и складывал дрова, а затем опять садился заниматься допоздна. Иногда вечером он сидел в кресле в гостиной и читал с карандашом в руке. В это время мне очень нравилось заниматься на рояле, и я просила папу оторваться от чтения и слушать. Папа соглашался, но всё же продолжал своё чтение. Длинными зимними вечерами родители сидели вместе. Мама печатала на машинке под папину, на английском языке, диктовку. Иногда прерывался этот стук, и они подолгу что-то обсуждали, дискутировали или просто тихо беседовали. В такое время меня всегда охватывало чувство счастья. Я смотрела на это, как на какую-то идиллию. А когда родители вместе куда-то уезжали в город, красиво одетые, прекрасные, меня охватывало чувство гордости. Но всё прекрасное для меня перемежалось с очень тяжёлым чувством, когда из папиной комнаты, во время его отдыха, доносился тяжёлый вздох, такой тяжкий, что казался стоном. Я чувствовала, что это неспроста и что-то тяжкое, тревожное мучает его: наступали 1936–1937 годы. Новый, 1938 год мы встретили вместе с родителями на Клязьме. Всё было очень скромно, серьёзно, напряжённо. Никто не улыбался. Ёлка была, но без игрушек, лишь с белыми горящими свечами и немного «дождя». Папа тихо что-то говорил, а мы больше молчали. А через полтора месяца, 16-го февраля, мама приехала к нам в город и сообщила, что папу «взяли».

Следователи с глубочайшим цинизмом относились к отчаянной борьбе жён арестованных за жизнь своих мужей. Вместе с Б.М. Гессеном был расстрелян его аспирант А.О. Апириин. Б.М. Гессен не выдержал и подписал признательные показания. А.О. Апирина же сломить не удалось, он боролся до конца. Следователи использовали против него показания его первой жены, с которой он был в разводе, женившись на другой женщине. Внучка А.О. Апирина от его второго брака чтит память деда и навещает символическую могилу жертв репрессий на Донском кладбище Москвы.

Жены арестованных были лишены возможности повторить путь декабристок. Но когда они пытались бороться за освобождение мужей, это оборачивалось противоположным результатом.

В числе ленинградских философов был арестован, осуждён к пяти годам заключения и направлен в лагерь Ю.П. Шейн. Его жена написала в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б), добиваясь возвращения мужа из лагеря и пересмотра его дела:

По состоянию здоровья он очень слаб, страдает грудной жабой, малокровием и расстройством нервной системы. Его направили в очень тяжёлую и суровую обстановку концлагеря в Чибью Коми автономной области на реке Ухта. Из его письма я узнала, что его состояние здоровья вызывает опасения. Его сердечная болезнь (грудная жаба) усилилась, и он не выдержал тяжёлого перехода и начиная от станции Пинюг у него начались сердечные припадки после пилки и колки дров в течение десяти часов. А при переходе пешком по этапу в Чибью из Усть-Выми, пройдя 150 км, он слёг и лежал в больнице на этапном пункте Ропча с 24 мая по 8 июня, откуда его 16 июня на грузовике отправили в Чибью на распределительный пункт Шор и дальше этапом на пункт Воркута за 200 км за Северный полярный круг, где идёт добыча угля для судов. Но по состоянию здоровья его всё же вернули на Шор, откуда в тяжёлом состоянии (несколько сердечных припадков) направили в сангородок при Чибье. Ведь он же не преступник, и даже не политический. К нему есть только недоверие, за которое он несёт непомерное наказание. Как научного работника его знает т. Деборин, академик Иоффе. Как физика-теоретика марксиста его в Физико-техническом институте Иоффе ставили выше т. Гессена. Сейчас он – ученик слесаря. Прошу дать ему возможность работать как некоторым осужденным инженерам – по спе-

циальности. Он слишком серьёзно болен, и прожить ему ещё два-три года – ещё вопрос? Нужно спасти его для науки и не допустить его до гибели. Верю и надеюсь, что когда разъяснится, всё изменится, и вернут его науке, а ему вернут науку! [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1653. Л. 24–26].

Сидевший тогда в Чибье философ Г.И. Григоров вспоминал:

В конце 1936 года режим стал ужесточаться, часть администрации заменили. Лагерным санчастям строго предписали ограничить число освобождаемых от работы по болезни – не более 5 %, хотя больных было очень много. Усилили «шмон» в бараках, проверку посылок и переписку с родственниками. Участились самоубийства, человеку физически слабому, а особенно слабому духом, становилось очень тяжело справиться со всеми тяготами лагерной жизни. Из барака специалистов нескольких человек увезли в Москву, говорили – для пересмотра дела. Увезли и моего знакомого, профессора Юрия Шейна. Он пришел ко мне прощаться, вид у него был неважный, руки тряслись, он нервно протирал стекла очков. Он, в отличие от некоторых, не ждал ничего хорошего и прощался, как приговорённый к смерти [Григоров Указ. соч. Кн. 2: 288–289].

Ю.П. Шейна этапировали назад в Ленинград, пересмотрели дело, вынесли новый приговор и расстреляли.

Жена И.Я. Вайнштейна обивала пороги, пытаясь спасти мужа. Вот как она рассказала о посещении ею Института философии на Волхонке:

Я решила пойти к М.Б. Митину – одному из руководителей Института философии, который, как я была убеждена, сможет чем-то помочь, посоветовать, как быть. Я вошла с надеждой в большую светлую комнату дирекции Института философии и обратилась к восседавшему там Митину. Узнав, что я жена репрессированного Вайнштейна, он с нескрываемо злым и холодным выражением лица сказал: «Без несомненной вины у нас никого не арестовывают. Я ничем не могу помочь». И, посмотрев на часы, встал, давая понять, что ему некогда. Я возразила, что он ведь много лет знает Вайнштейна, что тот всегда был марксистом-ленинцем. Резко оборвав меня, Митин буквально закричал, чтобы я немедленно, сию секунду, покинула его кабинет, иначе он вызовет милицию и меня уведут куда следует... Не имея сил сдержать рыдания, я вышла [Воспоминания об И.Я. Вайнштейне: 251].

И.Я. Вайнштейна осудили и отправили в лагерь. Ему удалось переправить жене несколько писем, где он говорил об истязаниях, которым подвергался, и просил обратиться к Сталину с просьбой о пересмотре его дела. Жена написала письмо Сталину. В конверт она вложила книгу мужа о диалектике Гегеля, Маркса и Ленина и последнее письмо из заключения. Это была роковая ошибка: разглашение на воле того, что происходит за колючей проволокой ГУЛАГа, было по тем временам страшным преступлением, за которым следовала смертная кара. Позже она всю жизнь мучилась сознанием того, что стала невольной виновницей гибели мужа. После расстрела мужа её с сыном выселили из квартиры на улицу.

Сын Севьян стал впоследствии выдающимся учёным, гордостью нашей этнографии. Когда в перестройку родственникам разрешили прочитать уголовные дела, он пошёл на Лубянку, начал читать дело отца и вернулся потрясённым. Когда же он на другой день вышел из дома, чтобы вновь пойти туда, то ему стало плохо и он упал на автобусной остановке. После этого дело ходила читать уже его жена.

* * *

Способность остаться человеком в нечеловеческих условиях лагеря и вопреки им, видимо, и составляет ещё одну, третью отличительную черту поколения философов 1920-х годов.

Вот что рассказал о Д.И. Гачеве человек, сидевший с ним в лагере:

Как-то работали мы с ним в ночную смену в открытом золотоносном карьере. Два кайла, две совковые лопаты, огромный санный короб с ляжками-упряжками – весь наш нехитрый арсенал. Задача состояла в том, что мы должны были разрыхлить кайлами взорванный и промёрзший золотоносный грунт, загрузить им до отказа короб и, впрягшись в него, потащить его на высоченную насыпь. Мороз не менее 55 градусов. Туман. Едва видим друг друга. И вот в эту ночь, когда наш короб был заполнен до отказа, Гачев подошёл ко мне почти вплотную:

– Послушай, Миша! – сказал он мне и вдруг стал напевать мелодию. Это был лейтмотив Второго фортепианного концерта Рахманинова. Всё это настолько не вязалось с обстановкой, что я попросту обалдел.

– Ты только подумай, Миша, как это истинно русский гений Рахманинов создал творения с таким глубоким пониманием восточного ладотонального строя, а?

Когда кто-то нечаянно или нарочно опустил в шурф, наполненный водой, очень нужный инструмент, Гачев первый вызвался его достать. Бригада была в простое и могла пострадать не только материально. Он трижды нырял в шурф при 50-градусном морозе. Достал наконец. А когда одевался у костра, лязгая челюстями, сказал:

– Знаешь, Миша, вода не такая уж холодная... [Гачев 2002. 13–19 февраля].

А.Р. Медведев и в нечеловеческих условиях лагеря сумел сохранить человечность и достоинство. В лагере А.Р. Медведева неожиданно повстречал бывший сослуживец И.П. Гаврилов. Рой и Жорес Медведевы записали его рассказ:

Я встретился на Колыме с Александром Романовичем в трагической обстановке. Представьте себе: гонят колоннами нескончаемые многотысячные этапы под строжайшей охраной – со злыми немецкими овчарками, в нестерпимый пятидесятиградусный мороз. Большинство заключённых истощены, перенесли и голод, и болезни (пеллагру, дистрофию, цингу, глубокий авитаминоз и другие). И вот в Среднем Кане охрана нашей этапной колонны завела нас в одну из палаток, в которых размещались возвращавшиеся из Сеймчанских рудников сактированные врачебной комиссией заключённые, направляющиеся под Магадан на 23-й километр, где находился мрачный лагерь изуродованных, обмороженных, истощённых, слепых – словом, абсолютно нетрудоспособных, безнадёжных людей. Этот лагерь называли на Колыме лагерем живых трупов. Когда мы вошли в палатку, нам приказали снять с этих несчастных, слабых людей заработанные кровным трудом почти новые бушлаты и пимы, отдав им в обмен наше рваньё. Поднялся вопль этих людей, мольба пощадить их и дать возможность добраться в своём обмундировании до лагеря 23-го километра. Вдруг я слышу знакомый голос старшего этой палатки. Это был Александр Романович Медведев. Он своим звонким баритоном призывал наш конвой прекратить мародёрство над своими же товарищами. Надо сказать, что большинство нашего этапа отказалось от захвата чужого обмундирования. Но нашлись такие, которые без колебаний отнимали всё что могли у более слабых. Узнав друг друга, я и Александр Романович трогательно расцеловались и обменялись сведениями о пережитом. Много мы размышляли, как дошли мы до жизни такой, в чем же наша вина? Что теперь будет с партией и страной? Вопросов было много, но ответа дать мы не могли. Но вот команда строиться в этап, и мы с грустью расстались [Медведев, Медведев Указ. соч.: 3].

Философы, находясь в заключении, становились духовной опорой для товарищей по несчастью. Мотив этот пронизывает многие воспоминания. Дочь Ю.Ф. Геккера рассказывает о произошедшей однажды случайной встрече:

Выходила я из кабинета начальника отдела торопливо, стараясь как можно быстрее закрыть за собой клеёнчатую дверь, и торопливо шла по старому обшарпанному коридору. Тяжёлое чувство ещё продолжало давить меня. Старинная неуклюжая дверь – и я выхожу на большую площадку, соединяющую два здания, и спускаюсь по широкой лестнице, которая выходит прямо на тротуар. Кто-то окликнул меня:

– Подождите, ваша фамилия Геккер? Юлий Федорович – ваш отец?

Я замерла на месте:

– Да.

Кто-то наклоняется близко ко мне. Он высокий, какой-то измождённый, лицо как будто преждевременно состарившееся. Но ему не больше сорока пяти лет. Одет он плохо, в руке портфель.

– Я знал вашего отца. Я сидел с ним в одной камере в 38-м году... Когда назвали вашу фамилию, я сразу понял, что вы – его дочь. Как вас зовут? Вас пять дочерей – Юлий Федорович нам рассказывал. Я помню каждое его слово... Идёмте, не надо здесь стоять.

Мы спустились, пошли налево. Ужасный шум на улице, много людей, они путаются вокруг нас, толкают. В голове тоже шум, и путаются мысли.

Человек продолжил разговор:

– Я его никогда не забуду. Он так много рассказывал о себе, о своей жене, обо всех вас...

Мы были в ужасном состоянии, слова вашего отца были нашим спасением, они глубоко запали в душу, он был для нас как Христос...

Теперь мы вышли на ул. 25-го Октября и повернули ещё раз налево. Перед нами Красная площадь и Кремлёвская стена.

– Скажите, его мучили на допросах?.. Его пытали? (С трудом выговариваю это слово.) В каком он был состоянии?

Прямого ответа не последовало:

– Я пробыл с ним в камере недолго. Я был одним из тех немногих, которых отпустил Берия вначале, когда он сменил Ежова. Почему это был я, а не кто-нибудь другой, никто не знает. Но оправиться от пережитого там я так и не смог. Посмотрите на меня, зубы они выбили... Они выбили мою душу. Вскоре началась война. Я был на фронте, и всё это как во сне, но то – как будто было вчера. Я ничего не могу забыть.

Мы остановились. Встретиться ли нам ещё раз? Я подняла, наконец, голову, чтобы посмотреть на него. Он рыдал неслышно. На лице его была ужасная гримаса. Провалившиеся щеки дрожали, сутулые плечи вздрагивали. Сдерживаться я тоже больше не могла.

Молча, я протянула ему руку:

– Спасибо!..

Не знаю, куда он ушёл. Я тоже не знала, куда шла. Но только помню, что на Красную площадь я не вышла...

Как во времена Боеция, философия становилась для заключённого утешением. И.К. Луппол сидел в камере смертников вместе с академиком Н.И. Вавиловым. Инженер И.Ф. Филатов, сидевший с ними и выживший, рассказывал:

Камера была очень узкая, с одной койкой, прикованной к стене, окон не имела. Находилась эта камера в подвальном помещении тюрьмы. Тюрьму эту многоэтажную арестанты по сходству со знаменитым многопалубным кораблём, погибшим в Атлантике, звали «Титаник». В камере круглосуточно горела лампочка. Жара, духота. Температура доходила до тридцати градусов. Сидели потные. Одежду свою – холщовый мешок с прорезью для головы и для рук – заключённые называли хитоном. На ногах лапти, плетённые из коры липы. Луппол говорил, что такую одежду носили рабы в Древнем Риме. Питание

было трёхразовое: две ложки каши и миска супа из тухлых помидоров солёных с кусочком ржавой селёдки – обед и ложка каши на ужин. Кроме того, полагалось триста или четыреста граммов чёрного хлеба из ячменной муки. Передачи и приобретения для этой категории заключённых были запрещены. Вавилов навёл дисциплину в камере. Ободрял своих товарищей. Чтобы отвлечь их от тяжёлой действительности, завёл чтение лекций. Лекции читали по очереди все трое. Читали вполголоса, при громком разговоре вахтер открывал дверь или смотровое окно и приказывал разговаривать только шёпотом. На койке спали в порядке очереди двое. Третий дремал за столом, прикованным к стене и к полу камеры. Так проходил день за днём: утром после завтрака лекции, потом отдых, обед, снова лекции до ужина и сон. К двум академикам посадили какого-то умалишённого, который отнимал у них утреннюю пайку хлеба. Остаться без хлеба в тех условиях – верная смерть. Луппол и Вавилов, естественно, пытались справиться с безумным, но тот пускал в ход кулаки и зубы и не раз выходил из этой «битвы за хлеб» «победителем» [Поповский 1991: 93–94].

Перед лицом смерти от голода, которая их в итоге настигла, Вавилов и Луппол читают друг другу в камере лекции: Вавилов по биологии, Луппол по философии. Это способ остаться личностью в нечеловеческих условиях. Причём здесь ипостаси личности и философа совпадали. Не потерять себя, продолжать мыслить и обращаться с философским словом к сокамерникам. Палаческая система в такой как будто бы безобидной вещи, как чтение философских лекций, чувствовала непокорность узников, их выключенность из отношений господства и рабства. Луппола и Вавилова обрывали на полуслове. Но они и так были в камере смертников.

Для других же попытка остаться философом в тюремной камере стоила жизни. Деборинец Э.Ф. Лепинь на свободе занимался философскими проблемами физики [Корсаков 2019: 76–89]. В колымском лагере он стал читать тем, кто был вместе с ним в заключении, лекции по философии. Вокруг Э.Ф. Лепиня сложился кружок интересующихся.

В вину лектору и слушателям было поставлено то, что они присутствовали на собраниях, слушали и обсуждали лекции, участвовали в массовых отказах от работы и саботаже. Э.Ф. Лепиня направили в дальний лагпункт на общие работы. Но и там он продолжал, по донесениям соглядатаев:

...заниматься теоретической деятельностью, направленной на перемену существующего строя, пишет тезисы об изменении в преподавании философии, с ревизией Маркса, Энгельса. Ленина, Сталина, выражая в таковых развёрнутую ярко зиновьевско-троцкистскую контрреволюционную платформу [Мета, Диденко 2000: 69].

В итоге лагерное начальство, чтобы отличиться, сфабриковало «дело философов». Э.Ф. Лепинь был обвинён в том, что:

...отбывая наказание в Севвостлаге, организовал из заключённых контрреволюционную группу с целью продолжения активной борьбы с Советской властью. Руководил нелегальными собраниями, на которых читал лекции по философии контрреволюционного содержания [Там же: 60].

По «делу философов» Севвостлага Э.Ф. Лепиня и троих его слушателей расстреляли. Его – за то, что он писал философские тексты и читал лекции по философии, остальных – за то, что эти лекции слушали. В обиходе мы часто говорим о том, сколько стоят часы лекционного времени. Вот для этих людей ценой философской лекции стала жизнь – и для лектора, и для слушателей.

Совершенно пронзительный случай произошёл с Ю.Р. Закгеймом. «Доблестные труженики» НКВД фабриковали «заговор» очередной «контрреволюционной троцкистской террористической группы» из философов. Ю.Р. Закгейм был записан в «заговор» как участник террористической группы, который готовил «покушение» на Сталина. В нечеловеческих условиях заключения у человека оставался небогатый выбор: погибнуть самому или, погибая, вовлечь других, и сколько будет этих других. Через всё уголовное дело Ю.Р. Закгейма проходит сюжет о том, что он завербовал нескольких своих студентов в террористическую группу. Пункт об этом вошёл даже в смертный приговор. Но вопреки практике НКВД никаких имён в обвинительном заключении не названо. Потому что их не назвал Ю.Р. Закгейм. Каких страданий, каких новых пыток и издевательств это ему стоило – мы не узнаем. Несомненно одно. Своей смертью Ю.Р. Закгейм спас жизни нескольких своих студентов.

Ценой каких душевных жертв О.М. Танхилевич смогла сохранить себя в лагере как личность, женщину и философа, поделилась в своих воспоминаниях её подруга А.Л. Войтоловская. Они встретились, когда А.Л. Войтоловская во время работы потихоньку «мурлыкала себе под нос» любимые произведения: романы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Шуберта, Шумана, шотландские песни Бетховена:

В один из таких рабочих дней на нашу половину пришла Ольга и тонким протяжно-ласковым голосом заговорила – Кто здесь распевает всё то, что я люблю? Оля дождалась, пока я закончила, собрала и помыла инструмент, и по дороге заговорила мягко, просто, будто мы давно знаем и понимаем друг друга. Дружба возникла мгновенно и длилась почти до Олиной смерти только потому, что Оля её так же внезапно оборвала. Мне кажется, и в любви она создавала отношения и рвала, когда любовь не могла её поглотить целиком. Передо мной был другой человек, близкий к той, которую мельком знала на воле. Подавленность горем исчезла, она могла смеяться заразительно, весело, но какой-то порог она никогда не переступала, чему причиной высокая степень нравственного целомудрия, не позволявшая раскрыть себя. В ней для меня оставалась всегда некая неуловимость, нельзя было и предугадать, как будет реагировать она на события. К ней невозможно подойти с обычным критерием. Поразительна была в Ольге её редкостная способность в развитии той или иной мысли – доводы, обоснования кратки, чётко нанизаны, импровизация легка, как дыхание, а создаётся стройная и убедительная концепция, система взглядов [Войтоловская Указ. соч.: 255].

О.М. Танхилевич прошла через целый ряд арестов, ссылок и лагерей, дала отпор домогательствам следователя, переносила унижения, бесправие и голод. В лагере её любимый мужчина (они не были расписаны) и отец её ребёнка был расстрелян. Там же она родила, и забота о дочери вернула ей интерес к жизни. Г.И. Григоров, знавший её по философскому отделению ИКП, вновь встретил Ольгу Марковну в лагерном пункте Кочмес Воркутинских лагерей:

Эту молодую женщину природа одарила очень богатой, глубокой и тонкой душой, сильной волей, необыкновенным интеллектом, свободолюбием и мужеством. Когда бы я ни беседовал с ней, всегда испытывал восхищение от глубины, логичности и изящества её мыслей, от её всегда очень интересного анализа явлений, событий, философских направлений, отдельных личностей, искусства, поэзии и т. д. И при этом меня удивляло, что все годы она сохраняла веру в то, что найдутся силы, которые положат конец сталинскому произволу. Об этом Ольга говорила и при нашей встрече в Кочмесе. Принимая во внимание способность Ольги глубоко анализировать самые сложные ситуации и предсказывать их дальнейшее развитие, её постоянную надежду на сокрушение сталинской диктатуры, я связываю с совершенно особыми свойствами её души и характера. Люди по-разному воспринимают подобные судьбоносные поражения. Для Ольги смириться с этим было рав-

носильно смерти, вот она и пыталась удержать в себе веру в то, что не всё потеряно [Григорьев Кн. 2: 341–343].

Но чрезвычайная отзывчивость, острое переживание любой окружающей её несправедливости сказались на душевном состоянии О.М. Танхилевич. Она нашла способ выключаться из кошмарной реальности. Сложными путями ей удавалось сохранить в лагере два тома Гегеля и толстую тетрадь с конспектом его «Логики». Но наибольший интерес вызвала у неё не гегелевская, а математическая логика, тем более что для занятий ею книги не были так необходимы. Она сознательно стремилась разделить в своей истерзанной душе логическую ипостась, в которую она могла погружаться, и чувства, которые связывали её с реальностью. Своей подруге А.Л. Войтоловской она говорила:

Часть моей психики, а значит и памяти, кровоточит. Я должна подавить её беспощадно, иначе я лишусь возможности творческой деятельности, а значит, не смогу и не захочу жить. Единственный выход – расчленив память, а она сгусток наблюдений и опыта, на элементы. Для меня лично возможен теперь лишь один способ существования – заниматься математикой. Здесь я владею собой. Если увижу своё бессилие и в этой области, тогда конец. Танечке я тоже нужна только в таком случае. Мир, в котором я росла, думала, образовалась и до некоторой степени сама создавала, была очень счастлива и очень несчастна, от меня отказался безвозвратно [Войтоловская Указ. соч.: 258–259].

После всех перенесённых испытаний О.М. Танхилевич вернулась в философию и написала статью о Лейбнице как предшественнике кибернетики [Танхилевич 1957: 120–132]. Кибернетику как раз только начали реабилитировать, а она продумала её историко-философские предпосылки, находясь в лагере. Но возвращение к работе было куплено дорогой ценой. Состояние выключения из неприемлемой реальности у чувствительной натуры и так бы происходило, но оно ещё и культивировалось. У О.М. Танхилевич развилась циклотимия, когда периоды депрессии чередовались с периодами повышенной интеллектуальной и социальной активности. Она это знала и не хотела, чтобы болезнь развивалась бесконтрольно. Окончательно доконал её отказ восстановить её в партии. Для человека из поколения 1920-х годов потрясение понятное. Событие, равнозначное отторжению тебя социумом. Она выпила большую дозу снотворного и ушла из жизни.

Письма из лагеря – это такой эпистолярный жанр, который заслуживает специального исследования. Нам они важны сейчас как свидетельства неубиваемой человечности и неугаваемой потребности мыслящего человека в философском творчестве.

А.Р. Медведев умер в Сеймчанских рудниках на Колыме. Он сумел переправить сыновьям предсмертное письмо. В нём он писал:

Физически я очень далеко от вас. Но в своих мыслях и чувствах я близок вам, как никогда: вы «главный предмет моих привычных дум», смысл и цель жизни. Я без устали перебираю в обострившейся памяти все домашние эпизоды, вплоть до мелочных, и воспроизвожу ваши милые образы. И в этом моя утеха и радость. Я вступил в возраст, который древние греки называли «акме». Это позднее лето и начало осени – период творческого плодоношения. В этот период особенно тянет к философии. И я когда-то дал себе слово не выступать в научной печати до сорока лет, чтобы выпускать действительно зрелые произведения. Поэтому я и ограничивался научно-популярной, педагогической деятельностью, накапливая и обрабатывая материал – «заготовки». Именно теперь, на пороге вашего вступления в юношеский возраст, в пору цветения жизни, я бы хотел быть подле вас – передать вам свои знания и опыт и, по возможности, убересть вас от юношеских ошибок. Но судьба решила иначе! Главное – учитесь, упорно, настойчиво, не ограничиваясь школьной программой. Учитесь думать и быть организованными, вырабатывайте твёрдый характер и волю. Терпение, выдержка – вот что вам особенно нужно. Учитесь

преодолевать трудности, как бы велики они ни оказались [Медведев, Медведев Указ. соч.: 6].

Наставляя дочь в предсмертном письме из лагеря, В.К. Серёжников написал:

Наука – самое дорогое, что есть в жизни. Помни только, что занятия наукой требуют бескорыстной преданности ей и настойчивости, связанной с тяжёлым и упорным трудом. Как бы ни была продолжительна наша жизнь, никогда не устанешь заниматься наукой. Наука неисчерпаема, как неисчерпаема природа. Жаль только, что жизнь наша коротка. Тем более продуктивно надо проводить её [ГАРФ. Ф. 10022. Оп. 1. Д. 12. Л. 6,7 об.].

Мы говорили вначале, что подпись автора под философскими статьями в ряде случаев служила основанием для ареста. Так было с сотрудником Института философии и профессором философского факультета МИФЛИ дебординцем Ф.Е. Тележниковым. В предсмертном письме из лагеря он писал родным:

Один из самых тяжёлых моментов в здешней жизни – это полное отсутствие умственной работы, это отрыв от той большой научной кипучей жизни, которую я в последнее время так развил. Ведь я должен был реализовать то, над чем работал в течение пятнадцати лет. Неужели я не смогу оформить, осуществить то, над чем так скрупулёзно работал многие годы. Мои «Очерки истории буржуазной социологии» должны были заполнить пробел, существовавший в марксистской литературе. Ведь нет ни одной работы в этой области. Пройдёт время, я буду ходатайствовать о том, чтобы мне разрешили хотя бы понемногу, урывками продолжать эту работу, которая несомненно представляет общественный интерес [Тележников 2013: 6–7].

Но ему, как и почти всему его поколению, заткнули рот, не дали реализоваться их думам и устремлениям, их творческой страсти. Тема мучительной невысказанности, иссушающей работы мышления, лишённой возможности плодоносить, пронизывает лагерные письма. Д.И. Гачев писал жене из Адыгалаха, где и умер «на дорожных работах с использованием тачки»:

Мой дорогой дружок! Хочу признаться тебе в одной искушающей меня идее, над которой я думаю вот уже год. Правда, виновником этой идеи являешься ты. Как-то раз, несколько лет тому назад, я рассказывал тебе несколько эпизодов из моей жизни. Они тебе так понравились, что ты высказала мысль, что они достойны художественного отображения; после этого я стал думать о романе, посвящённом Сентябрьскому восстанию в Болгарии. Эту мысль, как только она появлялась, я изгонял, будучи убеждённым, что я или не созрел для этого, или вообще не способен к художественному творчеству. Последние годы я совсем перестал думать об этом. Однако с тех пор как я сменил профессию советского литератора на профессию колымского горняка, я опять возвратился к этой старой идее. Хотел я этого или не хотел, но голова, будучи абсолютно свободной от какой бы то ни было другой деятельности, стала лихорадочно работать. Таким образом, я уже мысленно создал сюжет, каркас, отдельные главы, отдельные эпизоды и положения, характеристики отдельных героев двух повестей – первой, посвящённой советской жизни, второй – западной. По своему жанру повести эти будут близки к философским повестям Вольтера и Дидро. Боже упаси обвинять меня в «чванстве» – сравнивать себя с этими титанами. Основное содержание их – изображение нового человека, новых отношений между людьми, вопросы социалистической культуры в действии. Главное: герои должны быть конкретно раскрыты посредством их страстной любви к природе, музыке, философии. Горький когда-то и где-то говорил: «Если у тебя в голове заведутся вши, это, правда, неприятно, но если в ней зародятся мысли – как будешь жить?» И вот мысли, творческие мысли меня терзают уже полтора года непрерывно. Но довольно морочить тебе голову мечтами и планами о творчестве. «Голодной курице просо снится», – говорит старая поговорка.

И неужели надолго мне будет сниться это просо, неужели я «враг народа» и должен пропасть в далёкой и холодной Колыме? [Гачев Господин Восхищение].

В осколках собранных воспоминаний, из которых мы попытались сложить некую мозаику, всё время просвечивает тема добра и зла и тема смерти и общения душ, разъединённых, оторванных друг от друга. Поневоле сюда включается мистический элемент, элемент контакта с запредельным. Ведь приходят же к нам вновь во сне ушедшие близкие. Мы жаждем встречи с ними, но приходят они сами. Тогда телепатия оборачивается ясновидением. Мистика пронизывает жизнь, так как становится единственным способом разрешить те главные проблемы, что не отпускают душу.

В воспоминаниях сына И.Я. Вайнштейна есть такой мистический сюжет:

Помню, как мы с мамой отнесли письмо на Центральный почтамт и послали: «Москва, Кремль, лично товарищу Сталину». Было это в самом конце декабря 1937 г., в канун нового, 1938 г. Маленький мальчик, я, конечно же, тоже безмерно верил Сталину, а потому каждое утро забирался на табуретку, чтобы заглянуть в почтовый ящик, где должен был быть ответ. Но его не было. Прошло около трёх недель, и вдруг... среди ночи проснулся от крика матери. Вся в слезах, она подбежала ко мне со словами:

– Твоего отца только что убили. Я почувствовала страшный удар. Пуля прошла здесь.

И она свалилась в рыданиях. Я запомнил: это было в ночь с 18 на 19 января 1938 г. Больше писем от отца не было. Мы пошли в приёмную на Кузнецком, и там нам сказали, что он осуждён уже на 10 лет без права переписки. После XX съезда партии мы получили извещение о посмертной реабилитации отца. Но даты смерти в извещении не было, попытки выяснить её – безрезультатны. В анкетах я всё же эту дату указывал – дату той страшной ночи, писал – 18 января 1938 г. Лишь два года назад на ещё одну просьбу матери пришел ответ: отец умер 19 января 1938 г. [Воспоминания об И.Я. Вайнштейне: 254].

Дочь Ю.Ф. Геккера вспоминает:

Когда за ним пришли, мама увидела у него на письменном столе недописанное письмо, адресованное Сталину. Письмо начиналось: «Уважаемый Иосиф Виссарионович!..» Это письмо было конфисковано вместе со многими рукописями отца и перепиской с Англией и США. Что произошло далее – точно неизвестно. Мы могли только предполагать, что следствие и суд продолжались со дня ареста, т. е. с 16 февраля и до 5 апреля 1938 года. Это день, когда арестовали нашу мать, потому что очень часто жён «изменников родины» брали после закрытия дела осуждённого, и их без суда и следствия высылали в лагеря вместе с уголовными преступниками. И вот, во время этих полутора месяцев, мне приснились два сна, которые я считаю практически вещими. Ведь сны – это образное проявление предчувствий или, как сейчас говорят, это психоанализ. Так что ничего особо удивительного здесь нет, и сны мои только подтвердились другими событиями. Такие как мой отец – были для Сталина ненавистными врагами. Сталин никому не верил. Будучи сам ни во что не верующим человеком, он не верил, что существуют принципиальные люди, которые могут принести себя в жертву новым идеям. Он верил только тем, у кого есть личные интересы и выгоды, или же тем людям, которых можно подкупить или запугать. Моего отца нельзя было ни подкупить, ни запугать, и не было у него никаких личных интересов, кроме чувства долга или ощущения какой-то миссии, данной ему свыше, – распространять по свету веру в свои идеалы. Эта «вера в коммунизм» влекла его вперёд, он видел прекрасное будущее, отражённое в тысячах зеркал, и если бы он не погиб, он верил бы в эти идеалы и по сей день. Итак, в первом сне я увидела всю нашу семью в Швейцарии, там где родилась наша сестра Оля. Охваченные какой-то страшной тревогой, мы идём торопливо по шпалам горной железной дороги. Справа поднималась гора, слева – дорога шла над пропастью; а вдали виднеется вход в пробитый через скалы тоннель. Впереди идём моя сестра Оля и я, и мы несём какие-то вещи. За нами мама,

Ирма и Верочка тащат больную сестру Алису. Позади всех идёт папа, он всё оглядывается назад и торопит нас. У входа в тоннель мы с Олей слышим, как мама умоляет папу идти вперёд и не ждать нас, но он настоял, чтобы мы все скрылись в тоннель, а потом он догонит нас. И вот мы идём молча в полной темноте. Потом мы с Олей видим на расстоянии дневной свет, но мама с девочками отстали от нас, и у выхода из тоннеля мы останавливаемся, чтобы подождать остальных. Вдруг раздаётся выстрел. Как удар прогремел сквозь тоннель и стал эхом биться о скалы, и долго-долго мы слышим, как он повторяется вдали. Когда из тоннеля выходят мама с измученной Алисой, а за ними Ирма и Вера, то мама крича спрашивает: «Где папа?» В зловещей пустоте тоннеля мы все понимаем, что папы больше нет. Этот сон тревогой отравил мне жизнь: несколько дней я еле волочила ноги на работу. Сон стал «телепатическим», так как он отразил дальнейшую жизнь семьи. Двум сёстрам удалось избежать ареста, их мама и трое других сестёр (все те, кто вышел из тоннеля несколько позже) – были арестованы и провели годы в тюрьме и в ссылке. Отец погиб и не вернулся. Вскоре, дней через десять или чуть меньше, мне снится второй сон. Опять я с Олечкой, но теперь мы с ней в Москве и совсем одни. Глубокой ночью мы идём по Староконюшенному переулку, где мы жили в детстве и где напротив нашего дома № 39 стоял особняк в глубине заросшего сада за железной решетчатой оградой. Мы идём мимо ограды, и внезапно из сада до нас доносится плач и причитания. Мы останавливаемся и, не сговариваясь, интуитивно лезем через решётку и, спустившись на руках по другую сторону, пробираемся среди кустов и деревьев туда, откуда слышны были стон и плач. На земле один за другим, всё чаще и чаще, лежат люди, все закутанные в белом, и среди них мы видим папу. «Почему ты плачешь?» – спрашиваем мы. И папа отвечает: «Как нам не плакать; нас сейчас отправят на северный необитаемый остров, а вам, родным, скажут, что мы умерли. Мы будем мучиться до самой смерти, и вы даже не будете знать, что мы живы».

Вдова Ю.Р. Закгейма так закончила свои воспоминания о муже:

Я прожила с Юделем всего восемь лет из моей долгой жизни. Всякое было в эти восемь лет. Он был абсолютно не приспособлен к решению житейских проблем. Такие трудно-разрешимые (и в то, и в нынешнее время) задачи, как замена разбитого стекла, ремонт крыши, наем дачи и пр., всегда ложились на меня. Но эти мелочи не вспоминаются. Я помню только восемь лет жизни с ним, полные глубокого счастья. Прошло более полувека, как Юделя нет в живых, а боль за него, сны о нем не покидают меня. И до сих пор мне снятся сны, что его любимого ученика бьют палками по его чудесной голове, а Юделя садист-палач расстреливает не в затылок, а в лоб, чтобы насладиться предсмертным ужасом на его лице... [Адамова-Слизбекрг Указ. соч.: 240].

* * *

Итак, три черты, которые я мог бы выделить, чтобы очертить поколенческий типаж философов 1920-х годов. В период формирования личности – стремление к философскому образованию на фоне преодоления неблагоприятных стартовых социальных условий. В период недолгого творческого расцвета – публичная акцентуация личной философской позиции в качестве интеллектуального и нравственного убеждения. В ситуации сталинского застенка – способность остаться человеком вопреки нечеловеческим условиям.

Вот что в виде небольшого очерка можно сказать о философах – «людях двадцатых годов». В нашей философско-мемуарной литературе была подзабытая ныне попытка создать поколенческий миф о «людях тридцатых годов», предпринятая М.А. Лифшицем [Лифшиц 1985: 189–312]. Сюжет этот стоит того, чтобы на нем остановиться поподробнее. Прошу простить читателей за это отступление от темы, его надобность вскоре разъяснится. Пример с

М.А. Лифшицем весьма характерен, так как показывает механизм выстраивания посмертных репутаций кумиров поколений.

М.А. Лифшиц противопоставлял своё поколение как поколению 1920-х годов, так и поколению шестидесятников. Конфликт его с шестидесятниками известен хорошо. А вот его отношение к своим непосредственным предшественникам требует пояснения. Перо М.А. Лифшица с лёгкостью, но без оснований перенесло на людей его «поколения» лучшие черты «людей двадцатых годов», в том числе понимание глубоких историко-философских истоков марксизма. Самых же «людей двадцатых годов» он наименовал «первыми учениками» (сиречь отличниками), и в этом был, видимо, прав. «Первых учеников», по его словам, «не любит история» за их «слишком передовые рассуждения», «бессодержательную жвачку» и «празднословие». История полюбила таких, как М.А. Лифшиц, которые «высказывались с большой осторожностью, полезной во все времена, а в 30-е годы особенно» [Там же: 291, 308]. «Первые ученики» не смогли промолчать, вылезли со своими идеями, стали поучать власть и – погибли. «Вторые ученики» вовремя промолчали, вовремя ославили кого следовало, вовремя составили подходящую речь для начальственного мыслителя. Таким способом оказалось возможным выжить и даже стать академиком.

М.А. Лифшиц не пошёл с «людьми двадцатых годов», потому что не хотел встраиваться в школу Деборина и считал себя самого годным на роль лидера самостоятельной философской школы:

Монополия принадлежала в области философии А. Деборину и его школе... Моё направление, не имевшее никаких организационных позиций, должно было рано или поздно потерпеть неудачу, – вспоминал М.А. Лифшиц. – Как раз в начале 30-х годов возникла дискуссия, которая опрокинула монопольное положение Деборина, деборинскую школу в области философии и подорвала преобладание аналогичных групп в области литературоведения, искусствоведения и т. д. Было бы, разумеется, неверно с исторической точки зрения забывать, что анти-деборинская дискуссия стала возможной только благодаря вмешательству Сталина. Это была «революция сверху». Тем не менее, более молодое поколение людей, занимавшихся философией, обучавшихся в Институтах красной профессуры, активно поддерживали критику деборинской школы. Понимая всю односторонность этой кампании, они, однако, не оплакивали прошлое. Кстати сказать, в этой дискуссии в 1931 г. Рязанов поддержал Деборина, и на этом произошёл мой разрыв с ним или, если хотите, его разрыв со мной [Из автобиографии идей... 1988: 278, 280].

М.А. Лифшиц деликатно назвал сталинский погром гуманитарной науки «дискуссией» и скромно умолчал о своей роли в событиях тех лет. Сделанный выбор привёл его не к статусу главы школы, а на стезю литературного подручного сталинских погромщиков философии. В стенгазете Института Маркса и Энгельса он прорабатывал Я.Э. Стэна, В.А. Тер-Ваганяна и других руководителей философского отдела ИМЭ [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 100. Д. 101342. Л. 5]. Директор Д.Б. Рязанов уволил его. Но через месяц сам был арестован. Специальная комиссия ЦК по проверке и чистке перетряхнула весь институт. Заведовать философским отделом был назначен сталинский погромщик П.Ф. Юдин. Он сразу же вернул М.А. Лифшица в ИМЭ как полезного и проявившего себя человека. На собрании ИМЭ М.А. Лифшиц заявил:

Недаром буржуазные газеты в настоящее время пишут о победе «сталинского курса». Мы должны принять это как лозунг и практически показать, что победа этого курса приведёт к повышению качества работы и в научном отношении [Мосолов 2010: 192].

Я.Э. Стэн, В.А. Тер-Ваганян вскоре оказались в лагере и были расстреляны. Заслужив доверие, М.А. Лифшиц получил должность заведующего сектором в Институте философии и

журнал «Литературный критик». Сектор и журнал стали опорой и источником текстов для делавшего придворную карьеру П.Ф. Юдина.

Позицию М.А. Лифшица и его круга в период репрессий хорошо характеризует заметка из его дневника, относящаяся, по-видимому, к периоду «оттепели», но повествующая о событиях 30-х годов. Удивляюсь, что интеллектуальные душеприказчики её опубликовали.

Дело было в начале тридцатых годов, – писал М.А. Лифшиц. – Андрей Платонов, сидя за стопкой водки в нашей доброй компании и узнав, что арестован Динамов или другой какой-то сатрап, окружённый теперь венцом мученичества, сказал: «Братцы, а не в нашу ли это пользу?» [Лифшиц 1992: 106].

С.С. Динамов – философ и литературовед, главный редактор журнала «Интернациональная литература». Он не был идеальной фигурой. Но это был профессионал, который много публиковался по англо-американской литературе, их коллега, не совершивший никаких преступлений. Меня сейчас не занимает мнение писателя Андрея Платонова. Бог с ним. Важно то, что в разгар сталинских репрессий в тёплой компании за столом у М.А. Лифшица сидят философы, писатели и литературоведы – «люди тридцатых годов», интеллигенты, и поднимают полную рюмку водки за очередной сталинский расстрел, ибо это «в их пользу». И этот человек включён у нас в серию «Философы России второй половины XX века» и пользуется репутацией интеллектуального гуру. Но дело даже не в нем самом. Дело в качестве поколения, которое сменило уничтожаемое поколение. В своей посмертно вышедшей книге М.А. Лифшиц сокрушался, что дело «людей тридцатых годов» не нашло продолжения. Немудрено, ведь из портрета «людей тридцатых годов», предъявленного будущим поколениям, им было утаено самое главное: активное содействие уничтожению сталинским режимом советских философов-марксистов. А на неправде ничего прочного и долговременного построить нельзя.

Экскурс о «стопке водки» позволяет выявить критерий, по которому разделились советские философы на рубеже 1920–1930-х годов, и одни из них так и остались «людьми двадцатых годов». Критерий не выведен задним числом. Он работал на практике. Люди проходили своего рода проверку, и противоестественный отбор выбраковывал тех, кто не смог, не нашёл в себе сил сдать, скормить Левиафану своего коллегу, желательнее более способного и занимающего руководящую должность. Кто не смог этого сделать – погибал наверняка, кто смог – обретал шанс выжить, а в перспективе удостоиться Сталинской премии. Неслучайно то, что А.М. Деборин остался жив, обернулось против его последующей репутации, дало повод клевете. Между тем он претерпевал гонения именно потому, что так и не пошёл на публичное поношение своих учеников. Сам же он, как мною было установлено, должен был стать жертвой антисемитского процесса, не состоявшегося вследствие смерти Сталина [Корсаков, Деборин 2014: 117–139]. Справедливости ради надо сказать, что среди деборинцев были такие, кто занимался информированием властей о своих философских противниках. Кто преступил грань между философской дискуссией и политическим преследованием оппонента (К.К. Милонов, А.А. Максимов, В.П. Егоршин). Но именно эти люди первыми стали клясть своего учителя, как только выяснилось, что власть решила его низвергнуть. Они выжили, остальные погибли. Исключение, подтвердившее правило.

Мой опыт изучения персональных дел членов партии показывает, что акт добровольной «выдачи врага» специально выделялся партийными следователями как важное смягчающее обстоятельство. Главное в том, чтоб совершить его вовремя. Кто не делал этого или делал вынужденно и потому поздно – погибали наверняка, кто делал – могли выжить. Когда я опубликовал работу, в которой показано, как В.Ф. Асмус поступил подобным образом в от-

ношении А.Ф. Лосева и Андрея Белого, это не встретило понимания большинства коллег⁴. Я, правда, не рассчитывал на пересмотр устоявшихся оценок и был готов к возмущению моей наглостью. Но меня удивили высказывания другого рода: «Время было такое. Все так поступали». Иными словами, для того, кто признан эталоном «человеческой и научной нравственности» [Валентин Фердинадович Асмус 2010: 63], подобное допустимо. А ведь в лице таких эталонов и выступили тыняновские «лица удивительной немоты». От «немоты» до «голубого канта» рукой подать. Коллегам, быть может, следовало сделать иной вывод: тайная приверженность религиозно-веховской идеологии (если, вообще, допустить в данном случае наличие способности к идейной приверженности) не может сама по себе служить пропуском в сферу человеческой порядочности.

В отношении «людей тридцатых годов» возможен только один вопрос: с кем, на какой стороне был «мастер философии», когда Сталин уничтожал русскую интеллигенцию – среди гонимых или же словом и делом помогал гонителям? Гонители подчас превращались в гонимых, но сути дела это никак не меняет. Имеет значение внутренний экзистенциальный выбор, готовность поступить так или иначе.

По мере усиления давления «сверху», извне, и превращения начётничества, склок и доносов в повседневность в философской среде происходило и человеческое размежевание изнутри. Суть процесса будет ясна, если мы присмотримся к антиподу деборинцев М.Б. Митину. Ведь он формировался несколькими годами позже в том же философском отделении ИКП. Но его не отнесёшь к поколению, о котором идёт речь. Сегодня мы знаем его как главного сталинского философа, доносчика и палача, организатора травли А.М. Деборина и его последователей. Каким путём он шел? Почему противоестественный отбор сохранил именно его? Митин вспоминал, как в годы своей учёбы он корпел в общежитии ИКП над книгами Канта: «Я спал по четыре часа в ночь, вставал в 4–5 часов утра и садился штудировать по настоящему. Но мы хотели знать – для чего это делать» [Архив РАН. Ф. 1992. Оп. 1. Д. 83. Л. 12].

Усидчивость не восполняла отсутствия способностей и таланта; результатов не было. «Пережёвывать» скучные тексты Канта, когда вовремя осёдланный поворот судьбы может раскрыть перед тобой богатства жизни во всех её проявлениях? Рождалось глухое раздражение. Тогда обманутый в своих ожиданиях Митин решил обратиться к Деборину:

Мы относились к Деборину как к Энгельсу на Земле. Он имел очень большой авторитет для нас, поступивших в Институт, он был для нас величиной недосыгаемой. Первый год – изучали только Канта. Второй, третий – только Гегеля. И, как мы шутили, до «понятия» так и не дошли. Но Канта изучали основательно. Во втором семинаре изучалась политэкономия, «Капитал» Маркса и т. д. В философском семинаре было шесть человек. Деборин сделал большой доклад, полтора часа – где, как надо изучать Канта, основные его произведения. Это был очень хороший инструктаж по изучению Канта. Когда он закончил, я ему задал вопрос: Всё, что Вы здесь сказали, очень хорошо, интересно, – я с большим пиететом высказал моё отношение к нему. – Канта мы хотя и будем изучать, мы для этого пришли в Институт красной профессуры, но в какой мере связывать изучение Канта с критикой неокантианской ревизии марксизма со стороны меньшевиков, социал-демократов – Бернштейна, Бауэра [Там же: 10–11].

Митин не ожидал последовавшей реакции патрона: «Он с таким гневом обрушился на меня! Он минут двадцать говорил: Вы должны штудировать, изучать, а потом будете заниматься этими делами» [Там же: 11].

⁴ Хотя некоторые из коллег добавили любопытнейшие штрихи к портрету этого философа [См.: Петров 2018: 415–452].

Просто сцена между профессором Преображенским и Шариковым: «Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать, молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества». Митин вспоминал эту историю в начале 1960-х годов на собрании в Институте философии. По иронии истории в те же годы Деборин писал в стол свои воспоминания, в которых мысленно обращался к Митину:

Дорогой недруг Митин! Вы повинны во многих грехах и даже преступлениях Сталина. Я учил Вас лучшему, несмотря на то, что у Вас хватает смелости меня обучать ленинизму. Я и мои ученики – речь здесь идёт о других моих учениках, стали жертвами Вашей травли, Вашего гнусного карьеризма. Кто ещё Вас так хорошо знает, как я. Ведь было время, когда Вы были со мною более или менее откровенны и говорили, что не пойдёте по научной линии, а по партийной, и надеетесь, что, когда попадёте в ЦК, Вы будете гарантированы от проработки. Таков был Ваш идеал! [Воспоминания академика А.М. Деборина: 130].

Вот такой состоялся заочный обмен воспоминаниями.

После окончания ИКП Митин не попал в число сотрудников Института философии. Более того, известный советолог-эмигрант А.Г. Авторханов, учившийся в ИКП, вспоминал, что Митин тогда не допускался и к преподаванию в ИКП; он состоял преподавателем стоящей ниже по статусу Академии коммунистического воспитания им. Крупской [Авторханов Указ. соч.: 154]. Видимо, Деборин ещё в ходе занятий в ИКП понял, что имеет дело с лицом малоспособным, к тому же ненадёжным в человеческом плане. Как известно, Шариков сделал из внушения профессора Преображенского свои выводы и пошёл другим путем, приведшим его к пайку и должности. Митин поступил именно так.

В 1928 году М.Б. Митин, работавший в Академии коммунистического воспитания им. Крупской, представил на обсуждение кафедры философии ИКП трактат под необычным тогда названием: «Ленин и Сталин как продолжатели философского учения Маркса и Энгельса». Руководитель кафедры А.М. Деборин, профессор И.К. Луппол и профессор Н.А. Карев забраковали работу и даже высмеяли Митина, отважившегося назвать Ленина и Сталина «философами». Другого мнения оказался секретарь ячейки философского отделения, в то время ещё слушатель ИКП Юдин – он решительно восстал против своих профессоров и довёл дело до ЦК. Из ЦК последовал довольно загадочный ответ – Сообщите Юдину и Митину, что тема весьма интересная, но не актуальная. Но через два года она стала актуальной – начали появляться главы из этой работы на страницах «Правды», «Под знаменем марксизма» и «Большевика» за подписями Митина, Юдина и Ральцевича [Там же: 105–106].

Речь идёт о знаменитой «статье трёх», с которой началась травля деборинцев. Ясно, почему наверху Митина за два года до начала разгрома Института философии взяли на заметку как подходящего для «грязной» работы человека.

Мы пока что не осмыслили беспрецедентное массовое уничтожение целого поколения философов в России. Философов и вообще-то немного в стране. Счёт же уничтоженных шел на сотни. Пока в нашей культурной памяти запёкшаяся кровь коллег, которые работали в тех же комнатах на Волхонке, что и мы, не станет точкой отсчёта, мы вновь будем наткаться на те же грабли. Если о гибели поколения 1920-х годов и заходит у нас иногда речь, то чаще всего со злорадством в отношении погибших, ибо они одобрили некогда высылку религиозных философов. Если честно сказать, то высылка действительно оказалась благом, иначе

нечем было бы заполнять фонды Дома русского зарубежья⁵. Но нужно понимать, что к самой акции по высылке философов в 1922 году деборинцы были непричастны. Они, правда, считали, что высылка возымеет благотворные последствия для развития профессиональной философии в России. В этом они ошиблись.

Беда философского процесса в России в том, что у нас один вид монополизма сменяется другим, другой – третьим. Более ста лет назад Вл.С. Соловьев обратил внимание на несчастную особенность русской мысли, в развитии которой одна крайность вызывает в качестве реакции другую – противоположную крайность:

Но неужели это такая неотвратимая для нас судьба – одну неправду уравнивать с другой и подчинить наше умственное развитие дурно и «жестокосердно» понятному закону возмездия: око за око и зуб за зуб? Если, как обыкновенно говорят, одно заблуждение естественно вызывает другое, противоположное, то подчиняться такому естественному процессу заблуждений не совсем естественно для человека, как существа разумного [Соловьев 1991: 90].

При этом стилистика дискуссии русских философов всех исторических эпох и идейных направлений нацелена на унижение оппонента и явно не оставляет инакомыслящим права на существование. Ситуация не изменилась со времён П.Н. Ткачева, писавшего:

Я знаю, что не только беседовать с российскими философами, но беседовать даже по поводу их не всегда безопасно. Российские философы – люди крайне амбициозные, на язык очень невоздержные и даже ядовитые. А уж какие они ругатели – боже мой, какие ругатели! Вы, вероятно, согласитесь со мною, что известная поговорка: «Бранятся, как извозчики» – далеко не выражает собою высшей степени брани и что её следовало бы заменить другой, более соответствующей действительности: «Бранятся, как русские философы». Дело в том, что извозчичья брань по существу своему довольно невинна; направляясь главным образом не столько на личность ругаемого лица, сколько на личности его родителей и отдалённых предков, она, очевидно, не грозит самому обруганному лицу никакими «неприятными последствиями». Совершенно другой характер имеет брань не извозчиков, а наших философов: родителей они не трогают, но зато все их усилия исключительно устремляются к оскорблению личного характера и к учинению всяческой пакости объекту брани. И чего-чего только они не наговаривают друг на друга, каких клевет и небылиц не взводят на своих противников! Намёки чисто личного и крайне недвусмысленного свойства, инсинуации – всё пускается в ход! [Ткачев 1976: 324].

Академик А.А. Гусейнов говорил как-то, что неплохо бы нам научиться сосуществованию разных философий на одной общей площадке. В это слабо верится. Во всяком случае, мне пришлось в начале 1990-х годов наблюдать на философском факультете МГУ последнюю по счёту историческую «смену ориентиров», сопровождавшуюся закрытием кафедр, массовым списанием литературы, удивительными человеческими «перевоплощениями» и, главное, новым контекстом политкорректности, который посредством страха табуировал определённые понятийные пласты.

Чего же ожидать русской философии в будущем? Очередную «смену вех» теми же методами?

Авторханов А.Г. 1976. *Технология власти*. – Франкфурт-на-Майне: Посев.

⁵ Кстати, по косвенным признакам спасение мыслителей входило составной частью в мотивы этой акции. Во всяком случае, дочь Г.Г. Шпета Т.Г. Максимова свидетельствовала, что А.В. Луначарский уговаривал её отца уехать из страны, когда высылали в 1922 г. философов.

- Агол И.И., Агол В.И. 2011. *Хочу жить. Так и жили.* – М.: АГРАФ.
- Адамова-Слиозберг О.Л. 2012. *Путь.* – М.: Возвращение,.
- Березин А. 1990. Иван Луппол. – *Вопросы литературы.* – № 9. – С. 91–95.
- Валентин Фердинандович Асмус... 2010. *Валентин Фердинандович Асмус.* – М.: РОССПЭН.
- Вестник Коммунистической академии... 1930. *Вестник Коммунистической академии.* – Кн. 40–41.
- Войтоловская А.Л. 1991. *Последам судьбы моего поколения.* – Сыктывкар: Коми книжное изд-во.
- Воспоминания академика А.М. Деборина... 2009. Воспоминания академика А.М. Деборина / Публ. С.Н. Корсакова. – *Вопросы философии.* – № 2. – С. 113–133.
- Воспоминания об И.Я. Вайнштейне... 2015. Воспоминания об И.Я. Вайнштейне / Публ. С.Н. Корсакова. – *Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: Философия.* – № 2. – С. 234–255.
- Воспоминания о Ю.Р. Закгейме... 2015. Воспоминания о Ю.Р. Закгейме / Публ. С.Н. Корсакова. – *Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: Философия.* – № 3. С. 203–216.
- Гачев Г.Д. 1989. Воспамятование об отцах. – *Дружба народов.* – № 7. С. 161–223.
- Гачев Г.Д. 2002. «Господин Восхищение». – *Литературная газета.* – 13–19 февраля.
- Григоров Г.И. 2005–2010. *Повороты судьбы и произвол.* Кн. 1–3. – М.: ОГИ.
- Днепров (Резник) В.Д. 1991. Люди двадцатых годов. – *Звезда.* – № 5. – С. 179–204.
- Дубинин Н.П. 1989. *Вечное движение.* – М.: Политиздат.
- Записки Санкт-Петербургского религиозно-философского общества... 1908. *Записки Санкт-Петербургского религиозно-философского общества.* – СПб. – Вып. II.
- Зись А.Я. 1996. Чему свидетелем был. – *Вопросы философии.* – № 2. – С. 127–136.
- Из автобиографии идей... 1988. Из автобиографии идей. Беседа с М.А. Лифшицем / Публ. А.А. Вишневого. – *Контекст 1987. Литературно-теоретические исследования.* – М.: Наука. – С. 264–318.
- Как это было... 2010. *Как это было: воспоминания и размышления* / Под ред. В.А. Лекторского. – М.: РОССПЭН.
- Каспарова М.С., Анчишкин И.А., Максимов А.Л. 1967. Памяти А.К. Столярова. – *Вопросы философии.* – № 12. – С.124–125.
- Корсаков С.Н. 2010. О первом проекте «Философской энциклопедии». – *Философский журнал.* – № 2. – С. 122–148.
- Корсаков С.Н. 2015. Виктор Константинович Серёжников: биографический очерк. – *Философский журнал.* – № 3. – С. 144–157.
- Корсаков С.Н. 2019. Страничка из истории философских проблем физики в СССР: Эдуард Фрицевич Лепинь (1893-1937). – *Философия науки и техники.* – № 1. – С. 76–89.
- Корсаков С.Н., Деборин М.Г. 2014. Борьба академика А.М. Деборина за научную и общественную реабилитацию: повесть в документах и свидетельствах. – *Философский журнал.* – № 1. – С. 117–139.
- Корсаков С.Н., Козенко А.В. 2007. Об эпистемологических основаниях биографики. – *Архив истории науки и техники.* – М.: Наука. – Вып. III. – С. 247–267.
- Ларина А.М. 2002. *Незабываемое.* – М.: Вагриус.
- Лифшиц М.А. 1985. *В мире эстетики.* – М.: Изобразительное искусство.
- Лифшиц М.А. 1992. Сейчас вам кажется, что истины нет... / Публ. В.Г. Арсланова. – *Свободная мысль.* – № 6. – С. 99–112.
- Лотман Ю.М. 2003. *Воспитание души.* – СПб.: Искусство-СПБ.
- Медведев Ж.А., Медведев Р.А. 2004. *Из воспоминаний.* – М.: ЛитМир.

- Медведев Р.А. 1990. *Политические портреты: Очерки и статьи*. – Ставрополь: Ставропольское книжное изд-во.
- Мета В.И., Диденко В.В. 2000. *Жертвы Колымы. Магадан: Документальные очерки и рассказы*. – Магадан: МАОБТИ.
- Мосолов В.Г. 2010. *ИМЭЛ – цитадель партийной ортодоксии*. – М.: Новый хронограф.
- Нирка Е. 1988. Возвращение имени. – *Кодры*. – № 9. – С. 125–128.
- Первый директор Института научной философии Г.Г. Шпет... 2010. Первый директор Института научной философии Г.Г. Шпет. Воспоминания дочери философа Т.Г. Максимовой / Публ. А.В. Черняева. – *Философский журнал*. – № 1. – С. 137–147.
- Петров В.В. 2018. В.Ф. Асмус и Андрей Белый в 1936 году. – *Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем*. – Вып. 4. – С. 415–452.
- Письма И.В. Сталина В.М. Молотову... 1995. *Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925–1936 гг.* – М.: Россия молодая.
- Поповский М.А. 1991. *Дело академика Вавилова*. – М.: Книга.
- Серёжникова В.В. 2015. Воспоминания о моем отце / Публ. С.Н. Корсакова. – *Философский журнал*. – № 3. – С. 158–162.
- Соловьев Вл.С. 1991. *Философия искусства и литературная критика*. – М.: Искусство.
- Стэн Я.Э. 1929. Выше коммунистическое знамя марксизма-ленинизма. – *Комсомольская правда*. – 26 июля.
- Танхилевич О.М. 1957. Лейбницевская концепция символической науки. – *Философские науки*. – № 4. – С. 120–132.
- Тележников Ф.Е. 2013. *Лекции по социологии и философии*. – М.: ЛИБРОКОМ.
- Ткачев П.Н. 1976. *Сочинения: в 2 т. Т. 2*. – М.: Мысль.
- Тынянов Ю.Н. 1988. *Смерть Вазир-Мухтара*. – М.: Художественная литература.
- Чичерин Б.Н. 1990. *Воспоминания*. – М.: Изд-во МГУ.
- Шапошников Л.Е. 1989. Православное богословие и философская апология религии (конец XVIII–XX вв.) – *Философские науки*. – № 5. – С. 41–50.
- Luppol I. 1936. *Diderot, ses idées philosophiques*. – Paris: Éditions Sociales Internationales.
- Luppol I. 1931. Is a philosophy of history consistent with the facts of history? – *Proceedings of the Seventh International Congress of Philosophy*. – Oxford; London. – P. 31–38.